

Военные
Приключения

ЗДЕСЬ, ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ



ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Военные приключения

Валерий Поволяев

Здесь, под небом чужим

«ВЕЧЕ»

2016

Поволяев В. Д.

Здесь, под небом чужим / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ»,
2016 — (Военные приключения)

ISBN 978-5-4444-8715-0

Россия устала от этой войны – не было семей, которых не зацепила бы подлая гражданская бойня, – в каждом доме она обязательно кого-нибудь унесла, смяла, спалила в огне. Люди изнемогают. Это понимает и командир Повстанческой армии Нестор Махно. Надо бы опустить оружие, но у него нет выбора – красногвардейские отряды гоняют махновцев по Малороссии, словно зайцев, стремясь уничтожить их во что бы то ни стало. До поры до времени спасают батьку звериное чутье, хитрость и полководческий талант, но все войны рано или поздно заканчиваются... Новый роман признанного мастера отечественной прозы.

ISBN 978-5-4444-8715-0

© Поволяев В. Д., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Часть первая. Кругом враги	5
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Валерий Поголяев

Здесь, под небом чужим

Часть первая. Кругом враги

Продолжала катиться тяжелым колесом по территории бывшей Российской империи Гражданская война, и спасу от нее не было никому – ни старым, ни малым, ни красным, ни белым, ни птицам, ни зверям, ни неграмотным мужикам-крестьянам, ни образованным дворянам – всех зацепила эта война. Всех! Всем было плохо.

Плохо было и батьке Махно, он не раз говорил об этом самой близкой для него женщине – Галине Кузьменко. Галина хмурила брови, на лбу у нее возникала вертикальная складка, словно бы этой зрелой красавице не нравились речи Нестора Ивановича, но перечить батьке она не осмеливалась.

Махно был царем, богом, судьей – и в своем доме, и на территории, где находились его люди.

Он мог делать все, что считал нужным, и ни один человек не имел права остановить его, даже не осмеливался – это могло кончиться плохо.

Понимал батька, что имена многих людей, которых мутная революционная волна подняла на поверхность и сделала известными, очень скоро будут забыты – их забудут и одногодки, находившиеся рядом во время событий, и тем более нынешние сопливые пацаны, которые завтра станут взрослыми, – они будут недоуменно морщить лоб и спрашивать недовольно: «Кто это?» Но он хотел, чтобы Нестора Махно не забыли никогда...

Батька был уверен: он навсегда останется в истории. В истории не только Гуляй-Поля, но и огромных пространств, населенных многими народами, – пространств, именуемых Россией...

Махно не оставляла мысль о сближении с Петлюрой.

В один из вечеров он вызвал к себе адъютанта Петьку Лютого. Тот явился незамедлительно, словно бы стоял за дверью и ожидал оклика.

– Скажи, Петь, ты верный человек? – Махно тяжело поглядел на Лютого.

Лютый взгляд этот выдержал и проговорил тихо:

– Не надо меня обижать, Нестор Иванович...

Взгляд у Махно потух, батька повесил голову:

– Прости... Время ныне такое, что порою приходит в голову мысль – а ведь верить нельзя никому, абсолютно никому, даже самому себе.

– Ведь это же абсурд, Нестор Иванович, – козырнул новым сложным словечком Петька.

– Понимаю, что абсурд, но... – Махно развел руки в стороны, – как говорится, доверять доверяй, но проверять проверяй! Как в истории с Григорьевым. Не дожди мы немного – и Николай Александрович сдал бы нас за милую душу. Беляки накрошили бы из наших шкур очень вкусную лапши.

– Да, батька, – согласился Петька, по-мальчишески отер ладонью нос – в нем продолжало сохраняться что-то подростковое, бесшабашное, что позволяло этого человека до сих пор звать Петькой, хотя в волосах у него уже серебрились седые волосы, – не поштучно светились, а целыми прядями; Петька уже все понял и произнес со вздохом: – Приказывай, батька!

– Мы остались одни. Кругом враги. С красными отношения у нас не сложились, с белыми тоже не сложились... Деникин только что взял Николаев. Крови там было пролито столько, что она скоро до Гуляй-Поля доплывет. Куда ни глянь – всюду беженцы. Одни спасаются от

красных, другие – от белых... Третьи спасались от Григорьева, но, слава богу, от него уже спастись не надо. В общем, нам нужно объединиться с кем-нибудь, иначе нас раздавят.

– С кем объединяться, Нестор Иванович?

– Думаю, с Петлюрой.

Петька Лютый улыбнулся: он читал несколько статей Петлюры, статьи ему нравились – Симон Васильевич копал неплохо, довольно глубоко, в выражениях не стеснялся и слог имел прочный. В чем, в чем, а в этом Лютый разбирался. Произнес со вздохом:

– Петлюра – это хорошо.

– Вот я и думаю послать тебя к нему с письмом. Пойдешь?

Лютый ответил, не раздумывая:

– Пойду.

Подготовили Лютого тщательно – подобрали ему железнодорожный мундирчик, какие носят машинисты паровозов, новенькую форменную фуражку с бархатным околышем и серебряными путевскими молоточками, нашли сапоги покрепче, чтобы выдержали долгую дорогу, дали три банки американских тушеных консервов, шмат круто посоленного сала – «национальной еды» Гуляй-Поля, полмешка сухарей, перетянутых пеньковой веревкой, две утирки: одну, чтобы стелить на землю во время обеда, другую – чтобы утираться после умывания, дали денег, самых разных – и старых, николаевских, и деникинских, с мрачными изображениями, отпечатанных на Дону, и советских «простыней», в полу кителя зашили пять золотых червонцев – неприкосновенный запас, который выручит Петьку в трудную минуту. Хотели дать оружие – маузер в заплечный «сидор», но Петька отказался:

– Не надо. Оружие может погубить меня. Лучше уж нож попрочнее. А маузер, если понадобится, я добуду сам.

Махно подумал, подумал и согласился с Петькой:

– Ладно! – Он обнял с Лютым, похлопал его ладонью по спине. – Помни, брат, что от твоей этой поездки зависит жизнь Повстанческой армии. Либо мы будем, либо не будем.

– Я понял это, батька.

– Ну что, присядем на дорогу по старинному сокальскому обычаю. – Махно неожиданно сделался суетливым, не похожим на себя – чувствовалось, что он с трудом отпускает Петьку – боится за его судьбу.

– Так то ж москали, батька... Разве то люди? – удивился слабости Махно Лютый. – Мы совсем из другого теста испечены.

Тем не менее он аккуратно присел на краешек табуретки.

– Тесто у нас одно, Петька, – кожа да кости славянского происхождения, и кровь одна – красный цвет имеет... Правда, это вовсе не означает, что ею надо пачкать знамена... Во! – Махно вздернул указательный палец, глянул в потолок, словно бы надеялся там что-то увидеть, но не увидел. – Из всех цветов самый главный – черный. К любому знамени поднесешь керосиновую лампу с открытым пламенем, оно через пару минут станет черным. Сгоревшая бумага тоже имеет черный цвет. Сгоревший дом – тоже черный. Человек, ежели попадает в печь, также делается черным, только руки у него бывают молитвенно согнуты и голова откинута назад – это означает, что человек в последний свой миг молился.

Батька неожиданно вспомнил, как год назад, еще при немцах, неподалеку от станции Орехово они брали одну колонию. Немецкую колонию. Брали, брали, но взять так и не смогли, только хлопцев своих сгубили.

Откатились в Орехово, а там поп ходит по железнодорожным путям, среди раненых, – сам черный, борода черная и одет во все черное – пропаганду среди бойцов ведет.

– Ну зачем вам, православные, немцы сдались? Ведь не самые плохие люди, а вы их стремитесь с земли сшибить? Они вон какие хозяева – нам у них еще надо учиться да учиться...

– Вы послушайте попа – гуторит, как вождь мирового пролетариата, – ничем речь не отличается. – У Махно начали буреть бледные худые щеки.

– Отступитесь вы от немцев, не бейте их – они нам могут еще большую пользу принести. Махно резко выкинул перед собою руку и показал пальцем на паровоз:

– Туда его! В паровозную топку!

Никто не смел перечить батьке – вид его был страшен. Люди понимали – если будут перечить – нарвутся на пулю: Махно выпустит в заступника магазин из маузера целиком.

Несчастливого священника-заступника, – как выяснилось впоследствии, в колонии жили православные немцы и батюшка бывал у них, проводил службы, – сгребли в охапку и поволокли к паровозу.

– Опомнитесь, православные! – кричал поп, но все было напрасно – те, кто его волок, оглядывались на Махно и поражались его лицу – искаженному, бурому, яростному.

Попа засунули в паровозную топку – только из трубы пошел густой черный дым, да в небо полетели искры.

Через несколько минут Махно опомнился и велел вытащить священника из паровозной топки, но было поздно – вытащили черный обугленный труп с молитвенно согнутыми руками. Лицо у Махно задергалось, было понятно, что последние миги своей жизни священник провел в молитве. Махно позавидовал этому человеку: неизвестно, что будет, когда он умрет сам, неведомо, куда попадет и в какой позе будет находиться.

Батька, присевший на табуретку рядом с Лютым, натуженно закричал. Вспомнил своего собственного бойца, хлопца из Песчаного Брода, – его поймали немцы и зажиарили на огромном листе железа... Тоже товарищ был черный, обуглившийся, съезжившийся, будто кукла...

Батька вздохнул, поднялся, в костях у него что-то хрустнуло, вид сделался постаревшим, усталым, – обнял и на прощание вручил конверт.

– Здесь письмо Симону Васильевичу, – сказал он. – И программа действий – где, когда и как лучше соединиться. Береги конверт, как зеницу ока. Понял, Петр свет Батькович?

Лютый молча кивнул, в горле у него что-то жалобно булькнуло, глотку сдавило, он вновь обнял батьку – попрощался с ним так, будто видел в последний раз...

Лютый попался – был взят белыми. Сидел он на станции, ожидая поезда на Винницу – Петлюра сейчас находился там, он вообще решил своей столицей сделать не Киев, а Винницу, – дремал на скамейке, изображая из себя такого усталого мужичка-паровозника, когда на вокзал нагрянул белогвардейский патруль.

Махновский посланец невольно съезжился – сейчас ведь устроят проверку и заметут!

Лютого замели без всяких проверок – даже документов не потребовали. Его засек один из патрульных – тощий хлопец в длинной, до пят, шинели, – несмотря на теплую погоду он был одет в шинель, – хлопец остановился около Лютого и ткнул в него пальцем:

– Ха!

– Ты чего, Савраскин? – спросил у него начальник патруля, прапорщик с трехцветной повязкой на рукаве.

– Я этого бледнолицего знаю.

– Откуда?

– А он у Махно адъютантом был.

Прапорщик неверяще глянул на невзрачного, в мятой одежде, Лютого.

– Кем, кем, говоришь?

– Адъютантом.

Расправив тощие юношеские усики, прапорщик перешагнул через какого-то бродягу, вольно разлегшегося на полу и выдававшего в беспокойном сне такие рулады, что с растрескавшегося, давно не отремонтированного потолка сыпались куски известки.

– Пойдем-ка, любезный, со мною, – сказал прапорщик, беря Лютого двумя пальцами за рукав пиджака.

Паренек в длиннополой шинели взял винтовку на изготовку – бежать Лютому было бесполезно: пуля оказывалась быстрее.

Петька вздохнул, поднялся с лавки, оправил на себе форменный железнодорожный китель, – движения у него были замедленными, неровными, будто со сна. В голове возникло тоскливое, похожее на туман: «Эх, конверт не удастся уничтожить! А ведь батька специально предупреждал... Надо бы все-таки взять с собой оружие – если не маузер, то хотя бы браунинг. Браунинг – штука небольшая, но очень убойная... Глядишь, и отбил бы. А сейчас все, сейчас – каюк. Убьют – это точно. Хотя бы не издевались».

Его привели в тесное, пахнущее кислой капустой помещение – то ли в комендатуру, то ли в караулку, то ли в штаб какой-то мелкой воинской части, там обыскали.

Пакет нашли очень быстро. И золотые царские монеты, зашитые в полу пиджака, нашли. Лютый уныло повесил голову.

И монеты, и пакет положили на стол перед седым горбоносым штабс-капитаном.

Тот небрежно разорвал пакет, извлек из него бумагу, пробежал по ней глазами и воскликнул с неожиданным возбуждением:

– Это же черт знает что! – Что он имел в виду под этими словами, штабс-капитан уточнять не стал, лишь скомандовал: – Срочно наряд из трех казаков, телегу и задержанного вместе с бумагами – в штаб полка! Чем быстрее – тем лучше!

Сопровождал Лютого все тот же прапорщик, который арестовал его на вокзале. На всякий случай прапорщик предупредил Петьку:

– Не вздумай тикать!

Тот со вздохом приподнял одно плечо:

– А куда, собственно, тикать-то? И к кому? Здесь для меня – чужие места¹.

– Вот и хорошо, – равнодушно проговорил прапорщик. Лицо у него было спокойным.

Лютого вывели во двор. Велели садиться в телегу. Рядом сел прапорщик. На улице их уже ждали трое конвойных казаков.

Шел дождь – нудный, мелкий, как пыль, въедливый, – хоть и мелок он был, и пошел недавно, а земля была сплошь мокрая – в выбоинах собрались плоские рябые лужицы, в которые плавали палые листья, воздух был пропитан влагой, и от противной сырости этой не было спасения.

«Хотя бы дождевик дали, что ли, – мелькнула в голове у Лютого озабоченная мысль, – или мешок... Промокну ведь». В следующее мгновение эта мысль исчезла и больше к нему не возвращалась. Лютому стало все равно, что с ним будет.

Телега выехала со двора. Прапорщик, сидевший рядом с Лютым, думал о чем-то своем, мысли его, видать, были непростыми – юношеское лицо прапорщика тяжело обвисло, на шее собрались морщины, иногда вверх гулко взметывался кадык, впечатывался во что-то твердое и также гулко, будто гирька, шлепался обратно. Безысходную тоску на людей нагонял дождь – и отвратительная влага эта, пробирающая до костей, и вкрадчивый, похожий на тифозную сыпь шорох.

Под колесами жирно чвыкала, лопалась пузырями черная плодородная земля.

– Ййе-хэ! – выкрикивал иногда возница, поднимал над собой кнут, но это на мерина, из последних сил тащившего телегу, не действовало: он видел в своей жизни и не такие кнуты...

Лоснящиеся мокрый зад мерина ходил туда-сюда перед лицом Лютого, он пытался собрать свои мысли воедино, навести в них порядок, и вообще сам собраться, но все в нем

¹ Судя по сведениям, дошедшим до нас, Петр Лютый не имел ни родителей, ни родственников, был круглым сиротой – он не знал вообще, кто произвел его на свет. (Здесь и далее – примеч. автора.)

было раздражено, расстроено, все поломалось, все оказалось порушено – ни одной толковой мысли, ни одного целого... чего целого может быть внутри у человека? Тьфу! Лютый ощутил, как у него расстроено задрожали губы.

К смерти он был готов и смерти не боялся. Боялся другого – того, что его будут мучить. Он стиснул зубы, с сипеньем всосал в себя воздух.

Телега спустилась в скользкий, с обмысленными краями овраг, казаки, матерясь, – следом, из-под копыт лошадей уползала неверная земля, одна лошадь захрапела испуганно и чуть не завалилась на бок, потом телега поползла наверх, мерин напрягся, запукал, всаживаясь копытами в землю, с трудом выволок телегу из оврага.

Впереди, в серой дождевой наволочи что-то шевельнулось, раздвинулось, в неясном расплывчатом пятне показалась яркая точка, словно бы там мигнул электрический фонарик, в следующее мгновение точка исчезла, потом возникла вновь и мигнула дважды с равным интервалом, словно бы кто-то передавал морзянку. Лютый вскинул голову, взгляделся встревоженно в горизонт, будто бы хотел найти там ответ на единственный мучавший его вопрос, ответа не нашел, электрический фонарик больше не возникал, и Лютый, проговорив спокойно: «Наше вашим – давай спляшем», – вдруг выпрыгнул из телеги и по скользкому склону оврага понесся вниз.

– Стой! Куда? – запоздало закричал прапорщик. – Стой, дурак!

– Наше вашим – давай спляшем! – донеслось в ответ смятое, плотно сжатое зубами.

Казаки молча развернулись и кинулись за Лютым.

Решение бежать возникло в Лютом в тот момент, когда он увидел, как в жидкой, сползающей на дно оврага грязи оскользаются копыта казачьих коней, в голове мелькнула горячая мысль: «Ведь кони же не устоят на этой крутизне, подомнут седоков». Мысль родила радостное ощущение – вот он, тот самый шанс, может быть, даже единственный шанс, который вновь поможет обрести свободу, больше такого шанса не будет, – и Лютый спрыгнул с телеги.

Он мчался и слышал, как в ушах у него свистит ветер свободы, сердце колотится в висках, оглушает, в груди рвется что-то радостное, он свободен, он свободен... Перемахнул через какой-то скрюченный куст, пытавшийся удержаться на крутом склоне и свесившийся вниз, будто некое диковинное растение, свалившееся с луны, – всадились каблуками в мягкий рыжий отвал, квашней вспухший посреди жестких остьев травы, утонул в нем по щиколотки, с трудом выдрал ноги и вновь понесся вниз, отчаянно, во весь голос горланя:

– Наше вашим – давай спляшем!..

Прапорщик выдернул из кобуры револьвер, прицелился, но стрелять не стал, подумал, что за гибель такого пленника ему здорово намылят шею, качнул головой огорченно и вновь засунул оружие в новенькую, кожаную, вкусного масляного цвета кобуру. Одна надежда была на казаков: догонят и ухватят беглеца за шиворот.

Казаки имели опыт по части подобных погонь – одного всадника они пустили тихим ходом следом за Лютым, быстрым ходом было нельзя, конь мог переломать себе ноги, а двое, мрачно оперевшись каблуками сапог в стремяна, стали отвесно скатываться по крутизне на дно оврага, рассчитывая очутиться там раньше беглеца и достойно встретить его внизу.

Лютый их не видел, он вновь перемахнул через какой-то кучерявый, сплошь в мелких зеленых листочках куст, не удержался на ногах – под правый каблук попало что-то скользкое, будто ногой он наступил на ледяное зеркало, охнул и поехал на заднице вниз.

По пути все-таки сумел подняться, перебрал ногами десятка два метров склона и снова свалился, захрипел надорванно – ему показалось, что легкие у него сейчас выскочат из груди.

– Наше вашим – давай спляшем! – выкрикнул он что было силы, но крик угас в нем сам по себе, Петька его даже не услышал – он продолжал скатываться на дно оврага, а там, держа пашки наголо, уже приготовились к рубке два казака.

Лютого несло вниз, и он не мог остановиться, словно бы некая безудержная сила волокла его на дно оврага, не давала уйти по склону вбок, ускользнуть.

Он оглянулся. Сзади, притаптывая его след, на коне спускался третий казак. Все, Лютый оказался плотно зажат, из этого кольца ему не уйти. Петька попытался рассмотреть лица казаков, которых он раньше не видел, а сейчас видел хорошо, но вот ведь как – ничего не разобрал: вместо лиц были голые, желтоватые, тускло поблескивающие в свете мелкого дождя черепа, на которые были натянуты фуражки с опущенными под подбородки ремешками, широкие черные глазницы были пугающе глубоки. Тело Лютого пробил невольная дрожь, он закричал что было силы и съехал прямо под копыта одной из лошадей, на которой сидел казак.

Казак напрягся, гикнул лихо и взмахнул шашкой. Удар на отделение кочана от кочерыжки у него был отработан мастерски – Петькина голова тихо соскользнула с туловища и нырнула ему под ноги, словно бы прячась от казаков. Затем подпрыгнула и шлепнулась, окровавленным обручком шеи в грязь, погрузилась в нее по уши и замерла. Открылись и закрылись глаза, потом приотворился рот, клацнул зубами, выбил наружу струйку крови и замер...

Бывший хуторской сирота Петька Лютый перестал существовать.

Бывший одесский печатник Полонский получил из рук Махно для своего полка, который он упрямо продолжал называть дивизией, личное знамя, стачанное из дорогого черного бархата, экспроприированного на одном из елисаветградских складов и расшитого с обеих сторон серебряными черепами. Вручив знамя, Махно обнял Полонского:

– Воюй, Миша! Полк твой буду называть Стальным. Стальной полк. Звучит как красиво, а!

– А не лучше ли Железная дивизия, а, Нестор Иванович?

На дивизию людей у Полонского не хватало, не тянул, Махно нахмурился и качнул головой:

– Нет! Стальной полк!

Вечером к Полонскому прибыла из Одессы жена, заставлявшая мужчин изумленно обращаться: высокогрудая, красивая, затянутая в корсет, с осиной талией, с большими голубыми глазами... Театр, в котором она работала актрисой, по случаю гражданской войны приказал долго жить, поэтому госпожа Полонская стала обычной мужниной женой.

Полонский примчался к батьке:

– Нестор Иванович, не откажитесь заглянуть вечерком ко мне в гости на чай с печеньем от Эйнема.

– Эйнем давным-давно приказал долго жить. – Махно хмыкнул. – Разве он еще существует?

– Нет, Эйнем не существует, а печенье осталось. Вкусноты необыкновенной. Фабрика одно время готовила специально для фронтовиков. Долгого хранения.

– Загляну обязательно, – пообещал Махно. – Примерно в половине девятого вечера. Это лучшее время для чая.

– Жду вас с нетерпением. – Полонский наклонил голову. Улыбнулся загадочно. – У меня не только печенье от Эйнема будет, но и кое-что еще.

– «Кое-что еще» не надо, – хмуро произнес батька. – Я в Повстанческой армии решил объявить сухой закон. Сколько мы по пьяни достойных людей потеряли – не сосчитать.

– Батька, хлопцы вас не поймут, – со значением произнес Полонский.

– Поймут, еще как поймут. А для того, кто откажется понимать, я постараюсь подыскать подходящие аргументы.

– Батька, ну, самую малость, – голос Полонского сделался вкрадчивым, – ради встречи. Ведь столько лет, столько зим не виделись.

– Ну ладно. – Махно сделал рукой замысловатое движение – то ли разрешил Полонскому выставить на стол пару бутылок напитка, которым тот загадочно обещал угостить батьку, то ли этот жест обозначал известную пословицу «Моя хата с краю, я ничего не знаю» – не понять.

Вечером он подъехал к дому, в котором расположилась чета Полонских, на автомобиле, в сопровождении десяти конников, среди которых были два Льва – Лев Голик, главный контрразведчик в махновской армии, и Лева Задов – тоже контрразведчик, только с трубою пониже и с дымом пожиже... Контрразведчики уже давно предупреждали батьку, чтобы он вел себя осторожнее.

– Чего, какая-нибудь новая Маруся Никифорова объявилась? – ехидничал тот, глядя на контрразведчиков. – Бомбу грозит в меня швырнуть, как в великого князя Сергея Александровича?

– Батька, мы не шутим, – отвечал ему Голик с озабоченным видом, – за вами охотятся все кому не лень – и красные, и белые, и полосатые, и серо-буро-малиновые...

– Вот-вот, последним я нужен больше всего. – Батька делал губами шамкающее жевательное движение. – Только без соли им меня не одолеть...

Огромный, кучерявый, с выгоревшим на солнце чубом Лева Задов обычно легкомысленно хихикал:

– Наше дело, Нестор Иванович, вас предупредить, ваше дело – наплевать на предупреждение.

– Дур-рак ты, Левка. – Батька сплевывал себе под ноги и отворачивался от Задова.

Поносив форму командира Красной Армии, Лева Задов стал иным – появилось в нем что-то от азартного игрока – любителя рисковать в одиночку.

Двое конников соскочили с седел, поспешно встали на часы по обе стороны двери, где обитали Полонские.

Махно неспешно вышел из автомобиля и, вытащив из кармана серебряный «мозер», сказал Трояну:

– Здесь я пробуду ровно час. Можешь, если хочешь, отлучиться.

Троян отрицательно покачал головой.

– Мало ли что... Вдруг понадобится. Я буду здесь, на улице.

– Как хочешь, Гавриил, – голос Махно потеплел, – а то можешь к какой-нибудь вдовушке на яичницу с салом сгонять.

– Вдовушка обойдется. На сегодня, во всяком случае.

И сам Полонский, и жена его в роскошном бархатном платье стояли в открытых дверях, ждали батьку.

– Милости просим, Нестор Иванович, – пропела жена Полонского низким контральто, – мы вас уже заждались.

– Извините, раньше не мог, – сказал Махно, – жизнь беготная... От забот поседеть можно.

– Ну, вы еще очень молоды, Нестор Иванович, – сделала Полонская комплимент батьке. – До седых волос вам еще жить да жить. Это будет нескоро.

– У меня один хлопчик побывал в плену у Деникина – вернулся белый, как лунь, ни одного темного волоска в голове... И речь потерял.

– Жаль, – Полонская вздохнула, – наверное, парень еще молодой...

– Не старый, – подтвердил Махно. – Так что возраст здесь ни при чем.

Когда сели за стол, Полонский произнес с неожиданной грустью:

– А в Одессе сейчас белые. Шлифуют подметки о камни Дерibasовской улицы. Люблю Дерibasовскую... – Он выставил на стол дорогую бутылку темного стекла, на которой висела прозрачная виноградная гроздь – также стеклянная, сверху гнездились несколько алых ягод. На этикетке была написано что-то по-французски, батька выпятил верхнюю губу, насадил ее на

нижнюю, пытаясь прочесть этикетку, но мудреную надпись не одолел и спросил недовольно: – Что это?

– Вишневый ликер. Очень вкусная штука. Хорошо идет к чаю.

– Ликер?

– Да. Сладкая вещь. Что-то вроде нашей сливовой запеканки или спотыкача.

Махно огляделся.

– Хорошо тут у вас, спокойно. Совсем непохоже, что совсем рядом идет война.

Про себя он решил, что Галина теперь тоже будет ездить с ним, куда он – туда и Галина. Как нитка за иголкой. Пусть привыкает к походному батькиному быту... Впрочем, какой он для нее батька?.. Тьфу!

Белые начали наступать не только с юга, но и с севера. Дикая дивизия Шкуро – это восемь полновесных полков, Донская сводная дивизия, бронепоезд «Единая Россия» с орудиями крупного калибра – если такая дура бьет по дому, то от дома только глубокая яма остается...

На востоке тоже стучали своими тяжелыми колесами бронепоезда, пускали крупные, едва ли не в ящиках снаряды – «Иван Калита» и «Дмитрий Донской». Вместе с поездами на востоке наступали две дивизии – Терская и Кубанская пластунская. Вскоре белые взяли Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Гуляй-Поле.

Но Махно тоже оказался не лыком шит – внезапным резким ударом вышиб белых из Екатеринослава. В его руках находилась также железная дорога и узловой Александровск.

Вместе с батькой по местам боев мотались Аршинов-Марин и дядя Волин. Аршинов-Марин был занят в основном своей газетой и в дела военные носа не совал, поскольку ничего в них не понимал, а вот дядя Волин, формально считавшийся председателем Реввоенсовета, совал свой нос всюду. Давал советы. Реввоенсовет – это ведь сплошные советы... Советы, советы, советы...

С помощью дяди Волина батька выпустил воззвание. Вот его текст: «Граждане. Буржуазия все хихикает, видя наши неудачи на некоторых фронтах. Я скажу свое последнее слово: напрасно она злорадствует, надеется на наше поражение и торжество белого юнкерского Дона и Кубани. Временная неудача наша на этом участке – есть гибель буржуазии. Для этого приняты мною меры. От рук оставшихся здесь начальников по обороне г. Александровска т. Калашникова и его помощника т. Каретникова должна постигнуть гибель всей буржуазии и всех ее приспешников».

Сам бы батька никогда не написал бы такого «душевного» литературного воззвания. Оно ему было ни к чему, это во-первых, а во-вторых, слишком высокий штиль. Видна рука дяди Волина.

Говорят, дядю Волина видели обнимающимся с красавицей Галиной Кузьменко, но большинство из окружения батьки склонно было считать это вымыслом и враками. Хотя когда теоретик анархизма поглядывал на Галю, взгляд у него делался сальным.

Боевые командиры Волина-Эйхенбаума не любили – в первую очередь за то, что ни разу не видели его на передовой, потому и к приказам его относились с молчаливой снисходительностью, во вторую очередь – за его редкую пронырливость: всякую поживу он чувствовал заранее, за несколько кварталов. Нос дяди Волина был виден всюду. Еще не хватало, чтобы он вмешивался в боевые операции.

Дядя Волин даже костюм носил такой, в каком на фронте было нельзя показываться, – хотя и числился председателем Реввоенсовета, – от удивления могли передохнуть все лошади (массовый падеж был обеспечен): черный пиджак, черные брюки, черная шляпа, пейсы и толстая часовая цепь на животе. Горячий Калашников, когда видел дядю Волина, от ярости даже

терял дар речи, слова застревали у него во рту, Калашников дико вращал глазами и сжимал кулаки: была бы его волю, он бы проткнул дядю Волина насквозь шашкой.

Но вот батька... Батька носился с дядей Волиным как с писаной торбой, – пылинки сдувал, в рот глядел и почтительно называл учителем.

Хотя и давили белые так, что дышать уже было невозможно, хотя и брали город за городом, а Махно со своей армией тоже, как уже говорилось, не лыком был шит. И красные не лыком были шиты – от белых только пух с перьями во все стороны летели. Впрочем, добро это летело со всех без исключения, только спины с задами оголялись – и с белых, и с красных, и с зеленых, и с малиновых с синими...

И вот уже Шкуро, мусоля химический карандаш, сел писать в штаб Ставки донесение: «По долгу воина и гражданина докладываю, что противостоять Конной армии Буденного я не могу»... Шкуро поправил пшеничные усы, глянул в зеркальце, лежавшее среди бумаг, пальцем оттянул нижнюю губу, посмотрел на зубы. Так он определял здоровье у лошадей – по зубам. Зубы у него были белые, чистые, крепкие, хоть проволоку ими перекусывай.

«В моем распоряжении 600 сабель Кавказской дивизии и 1500 сабель – остатки корпуса Мамонтова. Остается Терская дивизия, но она по Вашему приказу забирается для уничтожения махновских банд. В силу вышеизложенного даю приказ – завтра оставить Воронеж».

Вот так батька оттягивал на себя лучшие силы белой армии.

Прочитав бумагу, Шкуро вновь подцепил пальцами нижнюю губу, осмотрел зубы. Ему казалось, что они у него должны заболеть. Шкуро поморщился и подписал бумагу.

Вообще-то настоящая его фамилия была Шкура, а не Шкуро, но слишком уж это не сочеталось с благородным генеральским званием, потому он и решил заменить «а» на «о», в результате получилось вполне пристойно: Шкуро.

Генерал запечатал бумагу в конверт, приклепнул сверху свой личный штамп и вызвал дежурного. Тот явился неслышно, будто привидение, вытянулся в дверях.

Шкуро отдал ему конверт:

– Вручите шифровальщикам. Пусть как можно быстрее передадут в Ставку.

Невдалеке, в двадцати метрах от дома, где сейчас находился Шкуро, что-то гроыхнуло. Генерал недовольно приподнял голову, верхняя губа у него дернулась.

– Что за чертовщина? – спросил он самого себя. – Будто снаряд в погреб нырнул. Уж не красные ли?

Нет, это были не красные. Казачий разъезд поймал на окраине Воронежа махновца – крутоскулого паренька с васильково-синими глазами и упрямым, раздвоенным глубокой ложбиной подбородком, одетого в мятый рабочий пиджачок, сшитый из рубчика и диагональные командирские галифе, снятые с какого-то офицера. За поясом у махновца был спрятан револьвер с полной обоймой патронов, патроны также россыпью болтались в карманах пиджака – даже в нагрудном кармане было спрятано два новеньких, нарядно желтых цилиндрика, за подкладкой фуражки у задержанного нашли справку, выданную Гуляйпольским советом, что владелец ее отпускается на вольные заработки.

Но какие вольные заработки могут быть в гражданскую войну?

Казачи только посмеялись над бумажкой, на руки махновца накинута аркан, затянули петлю и приволокли в центр города.

Командовал разъездом старый подхорунжий, на груди у него поблескивали три медали – заслуженный был человек.

Во дворе дома, где располагался казачий взвод, был разведен небольшой жаркий костерок, на дужке над пламенем болтался черный, изрядно помятый чайник – достойную жизнь прожила посуда. Подхорунжий подкинул в костерок дров, тяжело поглядел на пленника и велел:

– Ну давай, малый, рассказывай, зачем ты из Гуляй-Поля в Воронеж перекочевал. Ведь ты явно лазутчик... А?

Пленный молчал.

– Чего молчишь? Или у тебя языка нет? Отвалился язык? – Подхорунжий сунул руки в огонь, пошевелил пальцами, погрел мякоть ладоней, проговорил беззлобно: – Сейчас поджарим тебя на костре вместо поросенка и сожрем с чаем... Хочешь этого?

Пленный продолжал молчать.

– Ну, скажи, чего ты хотел найти в Воронеже? Разведать, что где находится? Где какая гимназия располагается, а где дворянское собрание? Так это же давным-давно известно. Еще что? Какие силы имеются у генерала Шкуро? Не твоего ума это дело... – Голос у подхорунжего был терпеливым, медлительным, словно бы внутри у этого пожилого человека окончательно сработались шестерни. – Лазутчик ты, это точно, – проговорил он отеческим тоном, вздохнул, приподнимаясь и нависая над костром, – захотелось старому вояке, чтобы пламя окатило теплом застуженную грудь, облегчило глотку, забиваемую мокротой и кашлем.

Он приподнялся еще выше над костром, огляделся:

– Серков, где ты?

– Я здесь, ваше благородие!

– Тол у нас еще остался? Не весь на рыбу пустили?

– Десяток шашек имеется.

– Привяжи одну шашку этому молчуну под задницу, используй по назначению... Хватит глушенных голавлей жрать.

Подхорунжий с довольной улыбкой покрутил головой из стороны в сторону, кривоватый крепкий рот его был полон темных, порченных годами, непогодой и плохой едой зубов, зубы обнажились, и стал походить подхорунжий на этакого замученного жизнью людоеда – не понимает народ, что ему есть хочется точно так же, как и всем, а этот худосочный, костлявый, мамой недоношенный – махновец, словом, – даже пасти разомкнуть не хочет, чтобы пообщаться – брезгует, гад...

– Ну, брезгуй, брезгуй, – проговорил подхорунжий беззлобно. – Хотя вряд ли тебе это поможет. Серков! – выкрикнул он вновь. – Ты чего, уснул?

– Никак нет, – раздался издали голос казака Серкова.

– Поспешай, а то чай уже пузыри начал пускать, скоро будет готов. – Подхорунжий приподнял крышку чайника, заглянул в черное блестящее нутро. – О-хо-хо! – проскрипел он натуженно, водрузил крышку на место и произнес примирительно, обращаясь к самому себе, но никак не к пленнику: – Что ж, не хочешь говорить – это дело твое. Я, может, тоже не стал бы говорить... – Подхорунжий подумал немного, склонил голову вначале в одну сторону, потом в другую. – А может, напротив – стал бы. – Он набрал в грудь побольше воздуха и рывкнул что было силы: – Серков!

– Я!

– Ты чего телишься?

– Бикфордов шнур не могу найти.

– Тьфу! – сплюнул подхорунжий прямо на крышку чайника. – Вот безрукий. И такими людьми мне приходится командовать, – пожаловался он пленнику. – Криворукие, кривоногие, вместо головы – задница. Вот и побеждай после этого вас, махновцев... Не лучше ли забраться к бабе на печку? Теплее и родным телом пахнет.

Наконец появился Серков с шашкой тола, очень похожей на кусок мыла, которым прачки стирают шахтерское белье, и длинным, метра в три, обрезком бикфордова шнура. Из свесившегося конца шнура сыпался на землю серый пороховой сор.

– Вот и я! – сказал Серков.

– Привязывай свое мыло этому деятелю под корму и поджигай, – велел подхорунжий.

– А что, никакого разговора с ним уже не будет?
– Не будет. Наговорились.
– Разведчик всежки. Ценный экземпляр.
– Нам кормить этот ценный экземпляр нечем. Действуй, как я велел.
– Ваша воля. – Серков втиснул онемевшему махновцу шашку между ног, плотно прикрутил ее веревкой.

– Да не здесь ты проделывай свои манипуляции, – подхорунжий раздраженно поморщился. – Отведи вон туда, в глубину двора, к тополю. А то его оторванные коки залетят к нам в чайник, посудину навсегда испоганят!

– Пошли! – Серков ловко ухватил махновца за шиворот. – Не то мы с тобой действуем старшему на нервы. А за это, знаешь, он может нас ножнами от шашки отлупить, – доверительно сообщил он пленному.

Странная это была игра в кошки-мышки, в смерть и жизнь, в своих и врагов, – подхорунжий и Серков разговаривали с махновцем как с человеком, по отношению к которому не затевали ничего худого. По заморенному лицу махновца проскользила тень, он всхлипнул и покорно поплелся за Серковым, одной рукой придерживая на ходу тяжелую брикетину тола.

Серков отвел его к тяжелому, с грубой потрескавшейся корой тополю, повесил на ветку конец бикфордова шнура, закрепил его щепкой, чтобы не сорвался, и с одной спички подпалил.

Бикфордов шнур сыро зашипел. Серков, оживившись, – медлить было нельзя, – выхватил из кармана бечевку, крепко и ловко стянул ею запястья махновцу, конец привязал к стволу и проворно отбежал от тополя.

– Бывай! – попрощался он с махновцем. – Мне пора чай пить.

А несчастный гуляйпольский парень, ученик токаря из мастерских при металлургическом заводе, все еще не верил в свою смерть – считал, что его пугают. И даже когда Серков подпалил бикфордов шнур, а потом, чтобы пленник не дергался, сцепил ему руки веревкой, да еще принайтовал к дереву, – тоже не верил. Пугают, мол... Это не страшно. Страшно будет, когда зубы начнут вышибать.

Бикфордов шнур тем временем продолжал гореть, шипел весело, пулял в разные стороны яркими электрическими брызгами и – бежал, бежал, бежал к исходной точке – к гнезду, вдавленному в брикетину тола.

Казаки тем временем расположились подле черного, очень похожего своей зачумленностью на поганый чайника и достали кружки... Лишь Серков заинтересованно поглядывал на пленника, будто был его крестным отцом.

По небу плыли бездумные облака, по-летнему легкие, скорые в этот серый осенний день, иногда на землю сыпался сор, и непонятно было, то ли с неба он падает, то ли поднимается снизу, с улиц, с крыш домов, срывается с коньков и труб и шлепается на землю.

Где-то в стороне, километрах в пятнадцати отсюда, за воронежскими окраинами, задавленно погромыхивал гром, будто бы в этот безрадостный осенний день затевалась гроза, но казаки хорошо знали, – и пленник знал, – это бьют красные пушки, крушат позиции белых, а когда сокрушат, то ворвутся в Воронеж и допьют чаек, сваренный в этом неказистом угрюмом дворе в черной покалеченной посудине.

Бикфордов шнур продолжал гореть.

– Ты чего, Серков, не мог бикфорд покороче найти? – ворчливо спросил подхорунжий.

– Не было покороче.

– Не было, не было, – передразнил его подхорунжий, – у тебя всегда так, с шишкой на лбу, хотя шишка должна быть совсем в другом месте. Чай в глотку не полезет, пока не рванет. Почему ты не учел это обстоятельство?

– Не получилось.

Пленник задергался, с силой рванул обе руки, пытаясь запоздало освободиться от веревки, засипел пусто, словно в нем что-то проткнули, снова рванул, разрезая себе запястья до самых костей.

– Если этот махновец прибежит сюда, чаю нам попить не удастся, – обеспокоенно проговорил подхорунжий.

– Не прибежит, – убежденно произнес Серков, – я по части повязать-привязать научился на «ять», еще когда у купца Бякина работал. – Серков усмехнулся, вспомнив что-то свое. – Попался бы мне сейчас этот Бякин...

– И что же б было? – насмешливо поинтересовался подхорунжий.

– Две половинки одного купца.

– Развалил бы пополам? Чем? Топором?

– Да хотя бы и топором.

– Силен, мужик. – Подхорунжий насыпал в свою кружку душистой травы, сорванной в степи и высушенной в кармане, размешал ее щепкой и покосился на пленника. – Если у него сейчас лопнет мочевого пузыря, то бикфордов шнур зальет.

– А чего мы его в штаб полка не сдали? – неожиданно полюбопытствовал Серков. – Они бы и занимались теперь грязной работой.

– Да была речь об этом, я специально заводил, – сказали, что не нужен. И вообще, махновцев велели в плен не брать.

– Всем – кердык? Зажрались штабные. Им бы пару раз в разведку сходить...

Пленник заверещал по-заячьи, задергался – наконец-то понял, что все происходит взаправду, зубы ему уже никто выбивать не будет, это казакам делать лень, – худое, с выпяченными скулами лицо его обильно покрылось потом, глаза разъехались в разные стороны.

– Сы-ы-ы, – просипел он прощально, лохмот бикфордова шнура заискрился между ног особенно ярко и в ту секунду толовая шашка рванула.

У пленника выдрало половину живота и вместе с дымящимися штанами зашвырнуло на верхние ветки тополя. Подхорунжий проворно накрыл кружку с чаем ладонью, чтобы не намело сора или того хуже, не угодил бы осклизлый кровяной шматок, но на руку ничего не шлепнулось, и подхорунжий проговорил удовлетворенно:

– Пронесло!

Этот взрыв и услышал генерал Шкуро.

Казаки допили чай, на тополь, в который вгвоздило их пленника, они старались не смотреть – ни к чему это, – посоvalи «шанцевый инструмент» в мешки, сели на коней и ускакали.

Через три часа Шкуро оставил Воронеж.

Поскольку от Петьки Лютого не было слышно ни слуха ни духа, батяка отправил к головному атаману Украины Симону Петлюре делегацию из двух человек: одного – говоруна, политика, теоретика, большого любителя украинского сала, второго – бойца, рубаку, георгиевского кавалера, готового за свободу «нэньки Украины» кого угодно развалить пополам своей саблей. Первый посланец был Всеволод Волин, второй – Алексей Чубенко.

Нашли посланцы хмурого настороженного Петлюру на станции Жмеринка, в роскошном вагоне, в каком, наверное, только самодержец российский и ездил. Дядя Волин восхищенно поцокал языком:

– Хорош катафалк!

Что такое катафалк, Чубенко не знал, поэтому на всякий случай решил промолчать.

Окружение Петлюры – полковники и генералы – были одеты роскошно, блистали всеми цветами радуги, как петухи, сам же Петлюра был наряжен более чем скромно: в глухой темный френч, застегнутый на все пуговицы, с отложным воротником, к клапану кармана был прицеплен золотой значок, какой именно, Волин так и не смог разглядеть.

Лицо у Петлюры было светлое, лоб высокий – сразу видно, журналист! Уловив в глазах Петлюры снисходительное выражение – так старшие обращаются к несмышленным младшим, – Волин на глазах превратился в этакого привередливого барина, – он умел это делать, – капризного, холеного, властного. Петлюра это засек, усмехнулся.

Адъютант Петлюры принес поднос с чаем, поставил его на стол. Подстаканники были новенькие, ни разу не использованные, серебряные, – это Волин отметил, подумал, что Петлюра все-таки придает их визиту значение.

После пятнадцатиминутного прощупывания друг друга «высокие договаривающиеся стороны», как принято отмечать в подобных случаях, пришли к выводу, что борьбу с генералом Деникиным, большим обидчиком Петлюры (Петлюра, например, с большим трудом занял Киев, а Деникин на следующий день вышиб его оттуда), и вообще всем белым движением надо вести совместными силами, для чего трэба заключить договор... А вот дальше начались разные «танцы-шманцы-обжиманцы»: Волин со своим напарником постарались нажать обеими ногами на душевные патриотические педали, как на педаль газа в автомобиле... Прав был Петлюра, когда смотрел на них как на бедных родственников: патриотические речи, не подкрепленные выразительным хрустом ассигнаций, выглядели смешными.

Впрочем, геополитический аспект был обговорен без особых хлопот: в случае победы Петлюра предоставляет Махновии возможность стать государством в государстве – в Махновии будет развиваться свободный советский строй, тот самый, который хотел батька, а вот по части «тебе – блин, мене – блин, вот тебе блин, а вот мене – блин» было хуже. Но тем не менее после долгих чаепитий Петлюра выделил батьке 125 тысяч патронов безвозмездно, а еще 575 тысяч продал за золото. Взял пятьдесят тысяч рублей – цену по тем временам вполне божескую.

Повстанческая батькина армия переходила в оперативное подчинение к петлюровцам. В порядке компенсации махновцы теперь могли пользоваться госпиталями в петлюровских тылах.

По части идеологических предпочтений разошлись резко: Петлюра горой стоял за буржуазный национализм, махновцы – за полную свободу без всяких государственных, националистических или буржуазных ограничений. И без всякого давления, естественно. И так пробовал велеречивый дядя Волин вбить в голову Петлюры светлые анархические идеи, и этак – все бесполезно: Петлюра твердо стоял на своем.

Договорились о том, что Петлюра и Махно встретятся лично и обо всем переговорят. На станции Умань.

Когда дядя Волин с напарником вернулись в батькин штаб и сообщили об этом Нестору Ивановичу, тот долго жевал губами:

– Есть у меня сведения о том, что Петлюра с большим почтением посматривает на Запад – буквально стоит на вытыжку, и все эти разглагольствования насчет буржуазного национализма приведут в конце концов к требованию присоединить Украину к какой-нибудь Бельгии или к Америке в качестве какого там по счету штата... Сколько у Америки штатов?

– Не помню, – соврал дядя Волин. Он никогда и не знал, сколько в Америке штатов, а если бы и знал, то все равно не стал бы держать эту мелочь у себя в голове.

– Но тем не менее повидаться с Петлюрой надо, – сказал Махно. – Он нам помог с патронами... А как он насчет анархических идей?

– Настроен отрицательно.

– Всемирную анархию отвергает?

– Полностью.

– Ну и хрен с ним... – Батька махнул рукой, как показалось Волину, с облегчением. – Нам пассажиры не нужны. А то, что есть ценного у головного атамана, – надо взять. Например, патроны. – Махно усмехнулся. – Дальше, глядишь, возьмем что-нибудь еще...

Через некоторое время разведка донесла батьке, что Петлюра прицепил свой роскошный вагон к бронепоезду и двинулся в сторону Умани.

– Что ж, мне тоже пора, – сказал батька и прыгнул в тачанку.

По обе стороны его в тачанке, как два брата, стояли тупорылые станковые пулеметы. В ногах лежала «люська» с заправленной в лентоприемник длинной брезентовой лентой, набитой новенькими блестящими патронами – петлюровским даром.

Оглянувшись на охрану, сопровождавшую его на черных, один к одному, специально подобранных конях, – сопровождало батьку пятьдесят человек, – Махно подал команду:

– Вперед!

До Умани – путь неблизкий, лучше было бы проделать его на автомобиле, но Махно рассудил здраво: на дворе осень, и хотя сегодня светит солнце, припекает по-летнему жарко, а во дворе пахнет персиками, это ничего не значит – через двадцать минут на солнце может наползти серое водянистое облако, и роскошный персиковый дух в течение нескольких минут будет сменен запахом гнилых помидоров, автомобилю застрять в такую погоду ничего не стоит – в первой же луже и сядет, а тачанку, даже если она утонет вместе с оглоблями, лошадь обязательно вытянет.

Для подстраховки – мало ли что может случиться во время общения батьки с Петлюрой – в район Умани решили выдвинуть кавалерийскую бригаду, способную в течение десяти минут взять город в кольцо и зажать всех, кто будет находиться в нем, – ни один человек не останется без присмотра и не уйдет незамеченным.

Катил батька на тачанке, слушал цокот копыт и думал о Петлюре: конечно, и скользкий он тип, и программа его скользкая – направлена на увод Украины от братьев-славян и в первую очередь от России, но у Петлюры сейчас – деньги, сила, международные связи, совет министров с целым штатом ловких чиновников, а у Махно что? Ни денег, ни патронов, ни оружия, ни связей, ни контактов с Лондоном и Парижем – только черное бархатное знамя, расписанное серебром, да желание видеть Украину свободной. Многие из сподвижников Махно были против этой встречи... Штабные, например, вообще выступили с идеей убрать Петлюру – разрешать его очередью из «люськи» пополам и сбросить в овраг.

Сам батька тоже не поленился, поручил двум Левкам – Голику и Задову – собрать сведения о Петлюре, справедливо рассудив, что о партнере по переговорам надо знать больше, чем он знает о себе сам. И уж во всяком случае – не меньше.

Симон Петлюра утверждал, что происходил из старого казачьего рода, на самом же деле с казаками его роднило только то, что отец Петлюры также крутил лошадям хвосты, как и безземельные казаки, – он был обычным извозчиком, денег домой почти не приносил, поэтому у Симона было нищее детство.

Когда Симон подрос, то поступил в Полтавскую духовную семинарию – ту самую, которую окончил поп Гапон, но очень быстро вылетел оттуда.

Стал преклоняться перед гетманом Мазепой, на его антирусских идеях и созрел: как и Мазепа, Петлюра считал, что Украина должна найти себе более выгодного царя, чем русский, поэтому Мазепа так и шарахался – от шведов к туркам, от поляков к французам, от немцев к англичанам, подсовывался под всех и всем заглядывал в рот: чего они скажут?

Движение Петлюры – так называемое Украинское националистическое – было рождено в Австрийской Галиции², Симоном Петлюрой занимались очень опытные наставники в городе Лемберге³, они многому научили своего подопечного, и в первую очередь тому, как бить русских.

² В советские времена это была Львовская область

³ Ныне – город Львов.

В 1905 году Петлюра переселился в Москву, работал в страховом обществе «Россия» кассиром. После выстрелов в Сараеве, когда Николай Второй объявил всеобщую мобилизацию, был призван в армию, но на фронт не поехал – устроился в тыловую часть, а затем – в «Союз земств и городов», где и протолкался всю войну.

Тыловое сидение не помешало ему возглавить Украинский фронтальный комитет и ораторствовать на митингах от имени тех, кто проливал в окопах кровь, – случалось, что скромный серенький Петлюра, изображая из себя матерого окопника, и рубаху на груди рвал, и кулаком в верх живота стучал. В семнадцатом году, в мае, Петлюру избрали во Всеукраинский войсковой комитет Центральной Рады, очень скоро он стал председателем этого комитета и пошел, пошел по ступенькам вверх – аж штаны в раздвиге затрещали. Через некоторое время получил пост военного министра УНР – Украинской народной республики, осенью восемнадцатого года стал главнокомандующим – головным атаманом – всеми войсками «незалежной»...

Карьеру сделал такую быструю, что шапка с головы запросто могла слететь. Хотя били Петлюру все кому не лень – и белые, и красные, и разные цветные, раскрашенные во все колера радуги – все, словом. Вот с таким человеком предстояло сотрудничать Нестору Махно.

А может, правы те, кто предлагал свернуть Петлюре, как петуху, голову набок и засунуть ее в суп?

Что ж, в этой идее также имелось кое-что привлекательное...

В конце концов, если они не сговорятся, батька постарается пристрелить Петлюру в его же собственном вагоне. Чтобы дурного духа на Украине было меньше.

Солнышко тем временем втянулось в вязкие серые облака, исчезло там, пространство вокруг загустело, слиплось, и сверху посыпался мелкий нудный дождь. Махно, чтобы не мокнуть, натянул на себя прорезиненный немецкий плащ, поднял капюшон, нахохлился по-вороньи, нос уткнул в воротник. Так под глухой шум дождя и въехал в Умань – небольшой чистый городок, радующий взор белизной мазанок.

Встретиться с Петлюрой договорились на железнодорожном вокзале, в роскошном царском вагоне...

Но Петлюры на станции не оказалось: бронепоезд срочно поднял пары и, дымя тяжело, вонюче, укатил в Христиновку – в последний момент Петлюра раздумал встречаться с батькой.

На что уж Махно был опытный, в жизни своей повидал всякие «сюжеты», но такого поворота он не ожидал!

Как выяснилось позже, Петлюра бежал даже не в Христиновку, а гораздо дальше – в Польшу, бросив на произвол судьбы свою армию и земляков своих – галичан.

Впрочем, из Польши местные власти его также скоро выдворили, и бывший семинарист покатился дальше – на Запад.

Через семь лет судьба догонит «головного атамана» и угостит его порцией свинца – Петлюру застрелит часовых дел мастер Шварцбард.

Перед тем как выстрелить, часовщик решил уточнить – Симон ли Васильевич Петлюра находится перед ним? Петлюра, словно бы вспомнив свое прошлое, напыжился, вздыбил помолодецки грудь и, думая, что перед ним стоит обычный почитатель его имени, ответил утвердительно.

После этого прозвучали выстрелы – часовщик всадил в Петлюру всю обойму целиком...

Одним из серьезных противников Махно в ту пору был белый генерал Слащев, воевавший очень умело, небольшими силами, с точным расчетом. Впоследствии Слащев написал: «Петлюра действовал вяло и нерешительно. Оставался один типичный бандит – Махно, не мирившийся ни с какой властью и воевавший со всеми по очереди». Слащев высоко оценил умение Махно воевать, отметил специально: «Это умение вести операции, не укладывавшееся с тем образованием, которое получил Махно, даже создало легенду о полковнике германского

генштаба Клейсте, будто бы состоявшим при нем и руководившем операциями, а Махно, по этой версии, дополнял его военный знания своей несокрушимой волей и знанием местного населения. Насколько все это верно, сказать трудно».

Когда Махно сообщили о немце Клейсте, он усмехнулся и недовольно скривил губы:

– Эти немцы драпали от меня так, что только пуговицы с мундиров сковыривались, будто горох. Неужели бы я стал терпеть рядом какого-то прусского бора с таракаными усами? Да ни в жизнь!

Задиристый Чубенко залихватски сбил набок папаху:

– А вдруг, батька?

– Мой полковник Клейст – это Виктор Федорович Белаш.

Белаш вел штабные дела толково, нисколько не хуже расстрелянного Якова Озерова, а может быть, даже и лучше.

Через несколько дней Махно налетел на станцию Помошную, взял богатую добычу – мануфактуру. Огромные куски ткани – штуки – раздали по селам, бабы были довольны невероятно, пели про батьку благодарные песни. Следом Махно взял еще одну важную железнодорожную станцию – Ново-Украинку – и совершил стремительный бросок на восток на целых сто километров.

Двигались махновцы, по плану Белаша, тремя клиньями: северной группой, средней – это была главная группа, которой руководил непосредственно штаб Повстанческой армии, – и южной. Калашников, командовавший северной группой, с ходу взял Елисаветград, но продержался в городе недолго – через несколько дней белые выбили его оттуда.

Генерал Деникин – человек рассудительный, склонный к анализу, умевший и выигрывать сражения, и проигрывать их, с уважением относившийся к противнику, написал впоследствии, что движение махновцев «совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной: 13-го – Умань, 22-го – Днепр, где, сбив слабые наши части, наскоро брошенные для прикрытия переправы, Махно перешел через Кичкасский мост и 24-го появился в Гуляй-Поле, пройдя в 11 дней 600 верст. В ближайшие две недели восстание распространилось на обширной территории между Нижним Днепром и Азовским морем. Сколько сил было в распоряжении Махно, не знал никто, даже он сам. Их определяли и в 10, и в 40 тысяч. Отдельные бригады создавались и расплывались...».

Надо заметить, что количество штыков в собственной армии Махно действительно не знал. Случалось, к нему приходили целые отряды, с винтовками, но без единого патрона, и батька давал им эти патроны, давал еду, давал пулеметы и отправлял в бой. На завтра эти люди, выполнив задачу, могли исчезнуть – разбежаться по родным углам. Армия Махно сокращалась и увеличивалась внезапно, в этом была ее особенность.

Деникин отметил, что «в начале октября в руках повстанцев оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, и Мариуполь – в 100 верстах от ставки (Таганрога). Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт».

Признание, сделанное главой Белого движения, стоит многого...

Иногда Махно вспоминал об атаманше Маруське, наглой статной бабе с простой русской фамилией Никифорова; ну ровно бы сквозь землю провалилась атаманша: ни слуху о ней, ни духу. Хотя Никифорова обещала громкие дела во славу анархической идеи. Не может быть, чтобы атаманша, любившая брать в руки маузер и пытаться юных белогвардейских прапорщиков, став мадам Бржостэк, провалилась вместе со своим красавцем Витольдом в преисподнюю – провалилась и следочка не оставила.

Впрочем, покидая Гуляй-Поле, Маруся Никифорова бросила кое-какие семена в тщательно вскопанную и хорошо удобренную грядку: разработала план налета на Харьковскую

чрезвычайку – в отместку за погубленных в Харькове анархистов, а также несколько «актов» в Москве, причем подгадала так, чтобы прозвучали они в новой российской столице в канун крупного большевистского праздника – Седьмого ноября. Календарь действовал уже новый, Россия жила по европейскому времени.

Сама же Маруся, как и обещала батьке, направилась в Крым.

На полуостров к этой поре начали стекаться сливки российского общества: высший свет Москвы и Питера, в вагонах, если туда заходили белогвардейские патрули, звучала в основном французская речь, если же заглядывали красные с винтовками – те же лощеные дамы старались говорить по-простонародному, поддельваясь под кухарок...

Это было противно.

Сама Маруся неплохо владела французским, но во время проверок не произнесла ни словечка. Ни по-французски, ни по-русски, ни по-польски... Чем дальше они уезжали от центра анархической вольницы, от Гуляй-Поля, тем больше она превращалась в обычную бабу, мужнину жену, на которой висят хлопоты по дому, по хозяйству – и мужа надо обстирать, и еду приготовить, – в Марусе исчезали черты грозной атаманши...

Это была и Маруся Никифорова, и в ту же пору совсем не Маруся. Сосредоточенный, молчаливый Витольд только диву давался, глядя на нее.

Единственное, чем она отличалась от обычной жены – тем, что совершенно не экономила деньги, швыряла их налево-направо, как обыкновенную бумагу.

В Крым въезжали чинно, будто «благородные», ни в чем непредусмотрительном не замеченные, в радужном настроении. Даже невозмутимый Витольд и тот не удержался: восхитился нежностью и розовой прозрачностью здешнего воздуха. На первой же крымской станции Маруся вышла из вагона с загадочной улыбкой, сделала несколько шагов и остановилась около торговки местным сладким вином – усатой татарки с быстрыми, как у козы, глазами.

– Вино трехлетней давности, выдержанное, – на чистом русском языке проговорила татарка, – на свадьбу сыну готовила, – торговка неожиданно понурилась, – да сына больше нету...

– Дамочка, не хотите ли жареного крымского гуся? – неожиданно заслонил торговку вином пропеченный до черноты человек с висячими гайдамацкими усами. – Отдам недорого.

Уж очень зазывным был голос у этого человека, уж очень хотелось ему продать гуся... А Марусе очень хотелось купить гуся – сочного, истекающего жиром, с золотисто-коричневой аппетитной корочкой – так захотелось гуся, что даже зубы зачесались.

– Сколько стоит гусь? – спросила она у гайдамака.

– Для такой красивой панночки, как вы, совсем недорого – червонец.

– Естественно, золотом?

– Не деревом же. – Гайдамак засмеялся, показал желтые редкие зубы.

Завысил он стоимость гуся, наверное, раз в пятнадцать, но рынок есть рынок, на рынке нужно торговаться. Маруся повернулась к мужу:

– Ну что, Витольд, потешимся гусем?

– Почему бы и нет? – ответил тот, прощупал глазами гайдамака – что за человек? Имелось в гайдамаке нечто такое, что не нравилось Витольду.

Нет, ни к чему не смог придраться опытный Витольд, Маруся тем временем достала из сумочки большой серебряный рубль.

– Вот тебе самые ценные в мире деньги, – сказала она и вручила гайдамаку рубль. – Давай сюда гуся!

– Рубль – этого мало, – заявил гайдамак.

– Бесстыжий ты, – укорила его Маруся, нагнулась к гайдамаку и произнесла тихо: – Хочешь, сейчас из сумочки извлеку шпалер и всажу тебе между глазами еще один рубль?

Она думала, что гайдамак испугается, но тот только ощерил редкие свои зубы (редкозубый – значит, большой враль) и отрицательно качнул головой:

– Не хочу!

– Тогда гони сюда гуся!

– Добавьте хотя бы полтинник, дамочка, будьте милостливы! И совесть имейте!

– Совесть, как всякая порядочная женщина, я имею. – Маруся достала из сумочки полтинник. – На!

Гайдамак со вздохом принял полтинник и произнес сожалеюще:

– Ох и продешевил же я! Мне жена теперь усы по самую репку острижет. – В голосе его появились обиженные нотки.

– Не острижет... Конечно, ежели ты не будешь бабой, – грубовато проговорила мадам Бржостэк, разом становись похожей на ту самую Марусю Никифорову, которую многие знали по прежним лихим годам, вперила руки в боки, и гайдамак разом втянул голову в плечи... В следующий миг Маруся вспомнила, кто она есть ныне, и вновь сделалась обычной мужниной женой. Гайдамак облегченно вздохнул.

Через пять минут поезд отошел от станции, гайдамак проводил его внимательным взглядом, крикнул то ли досадливо, то ли восхищенно и отправился в место, очень хорошо ему известное...

Так приезд Маруси Никифоровой в Крым был засечен деникинской контрразведкой.

Взяли Марусю не сразу. Она успела отдохнуть в Ялте, походить по роскошным ресторанам, украшавшим знаменитую городскую набережную, – публика в ресторанах сидела чинная, манерная, дамочки ели моченных в вине цыпят пальчиками, изящно оттопыривая мизинцы, сыпали французскими словечками, прохожих разглядывали в монокли, поджимали губки, если видели пьяного человека, и роняли через нос:

– Фи!

Вместе с Витольдом Маруся ездила в горы, несколько раз они прошли по царской тропе, останавливались у кривоствольных черноморских сосен, Маруся обрывала с веток длинную мягкую хвою, мяла ее в пальцах и интересовалась с торжествующими нотками в голосе:

– А у тебя в Польше, Витольд, такие сосны растут?

Тот удрученно качал головой:

– Нет!

– Значит, твоей Польше далеко до нашей России...

Витольд с этим не спорил. Пели горлицы, раньше их в Крыму не было, сейчас же появились, крохотные розовые горлицы оказались существами агрессивными – стали незамедлительно выталкивать из здешних мест ожиревших ленивых голубей.

Потайная мысль – уничтожить Деникина, если он тут появится, – все больше и больше овладевала Марусей Никифоровой. Витольд щурил жесткие серые глаза и молчал. Раз молчит – значит, поддерживает свою вторую половину, молчание на Руси принято считать знаком согласия и поддержки.

Сходили в церковь Иоанна Златоуста, Маруся зашла в храм, постояла немного внутри, когда же к ней направился священник – степенный старец в черной одежде с большим серебряным крестом на груди, – резко, по-солдатски повернулась и покинула собор.

Витольд стоял на улице и, задрав голову, любовался высокой, словно бы летящей, устремленной в небеса колокольной.

– Ты чего? – недовольно спросила Маруся.

– Эта колокольная занесена во все лоции мира.

Рот у Маруси глупо округлился.

– Для какой же надобности?

– Видна далеко в море. Первокласный ориентир.
– А! – махнула рукой Маруся, вздохнула с некоей тайной мыслью – все-таки дух террора пропитал ее естество до костей: – Вот было бы хорошо, если б Деникин приехал в эту церковь...
– Чего ж тут хорошего?
– Мы бы его рванули.
– Вместе с церковью? Церкви рвать нельзя.
– Это все осталось в прошлом, Витольд. Ты устарел.
Витольд промолчал, подхватил жену под руку и устремился по каменной улочке вниз.
– Пойдем, я покажу тебе место, где, вероятнее всего, может появиться Деникин, – сказал он.

Витольд привел Марусю к морю. Вода была прозрачная, холодная, набегала на берег, тихо шуршала галькой и также тихо откатывалась назад.

– Этот звук можно слушать вечно, – неожиданно заявила Маруся.

Витольд с нежной улыбкой посмотрел на жену: иногда в ней срабатывало что-то очень женское, включался некий невидимый механизм, Маруся размякала, на глаза у нее набегала романтическая поволока и знаменитая атаманша становилась совершенно не похожей на себя.

– Любишь звук моря?

– Очень.

Он привел ее к сырой – смесь камня с деревом – стенке: прямо в воду были вбиты толстые черные бревна, между ними проглядывала каменная кладка, верх был застелен выцветшими от солнца и воды, совершенно белыми досками.

– Что это? – спросила Маруся.

– Елинга.

– А по-русски?

– И по-русски будет елинга. Причальная стенка, на которую удобно сойти и даме, и генералу.

Маруся приподняла подол длинной красной юбки, высунула из-под него острый лакированный носок изящной туфельки, полюбовалась им. Витольд в очередной раз удивился: и как может в этой женщине ужиться изнеженная дамочка и безжалостная террористка?

– Отчего такое странное название – елинга? – спросила Маруся.

– Я вначале подумал, что это связано с яхтами, с эллингами, а оказывается, нет – стенку так называли по имени ялтинского градоначальника господина Елинева. А вон, – Витольд указал на белое скромное строение, прячущееся в островерхих гибких кипарисах, – дача бело-гвардейского генерала Врангеля.

– Мам-ма моя! – не удержалась от обрадованного восклицания Маруся. – Вот тут-то мы его и подловим.

– Вряд ли, – с мрачноватыми нотками, натекшими в голос, произнес Витольд. – За последние два года Врангель здесь ни разу не был.

– Но ведь кто-то же на даче живет. Ворота покрашены, дорожка подметена...

– Да, живет. Прислуга. – Витольд стремительно оглянулся – ему, как старому конспиратору, показалось, он это дело почувствовал буквально лопатками, спиной, затылком, что на него кто-то смотрит.

Человек, который смотрел на него, обладал более быстрой реакцией, чем Витольд, – молниеносно юркнул за сдвоенный ствол кряжистого, похожего на гигантскую колонну тополя.

Витольду было бы интересно поговорить с этим человеком, увидев его, он бы мигом насторожился. Это был шустрый, с висячими усами мужичок, который продал Марусе на железнодорожной станции жареного гуся, – гайдамак.

Гусь тот был хорош, Витольд до сих пор помнит его вкус, – в меру сочный, в меру жирный, в меру наперченный, в меру натертый чесноком – всего в нем было в меру. Витольд с

удовольствием бы съел еще пару таких гусей. Деньги у него с Марусей Никифоровой были – и не только на жареных гусей, – молодец Махно, не стал жадничать, поделился казной. . .

– Вот тут, моя милая женушка, могут оказаться и Врангель, и Деникин, и Слащев, и Май-Маевский, и Шкуро – все, словом. – Пристанут к елинге, ступят на этот вот роскошный деревянный причал, который к их приезду будет вылизан, как паркет в Таврическом дворце, – Витольд топнул ногой по длинной доске, – и пойдут на дачу к Врангелю пить шампанское.

– Ох! – Маруся даже взвизгнула от нетерпения, хлопнула ладонью о ладонь, растерла, будто между ладонями у нее попал комар, и выразительно посмотрела на мужа: – Очень хотелось бы!

Тот снисходительно улыбнулся – старый был налетчик, опытный. Произнес тихо:

– За всех не ручаюсь, но кто-нибудь в нашу мышеловку попадет – обязательно.

– Поехали, Витольд, обедать, – предложила Маруся. – Что-то очень хочется есть.

– Куда прикажете направиться, мадам, в какой ресторан?

– Куда-нибудь на пленэр.

– Ты, Маруся, выражаешься, как ученица художника Эдуарда Мане.

– Очень симпатичный дядька, этот Мане. В Париже я с ним встречалась. Ухоженный, в роскошном костюме, очень дорогим. На лацкане пиджака – мазок красной краски. Сделан специально – по принадлежности к цеху живописцев.

Умела иногда Маруся говорить так, что заслушаешься, ничего не скажешь – умела.

Витольд щелчком подозвал к себе извозчика, внезапно появившегося около елинги, посадил Марусю в бричку, ловко вспрыгнул сам, и ласковая парочка была такова.

Из-за могучего тополиного ствола высунулась плутоватая физиономия. Гайдамак стянул с себя шляпу – он каждый день менял головные уборы, знал, что новый головной убор неузнаваемо меняет лик владельца, вытер ладонью нос:

– У-уф!

Обедали супруги Бржостэк в уютном местечке, на окраине небольшой сандаловой роши, где предприимчивый грузин открыл кавказский ресторан, за столиком, застеленным накрахмаленной до сахарного хруста жесткой скатертью, Маруся одобритительно наклонила голову:

– Люблю такие скатерти!

Роша, где предприимчивый грузин облюбовал место для ресторана, примыкала к двум скалам, Маруся была знакома с ними по крымскому путеводителю: одна скала называлась Кошкой, вторая – Лебедем. Выстроилась этакая странная игра природы. Кошка решила поймать Лебеда, но добыча оказалась ей не по силам – Лебедь был крупный, с широким размахом крыльев, сопротивление его было отчаянным. . . Все это застыло, отображенное природой в камне – коричневатом-пыльном, старом, со сглаженными углами.

Позади лежал тихий, похожий на вымершую татарскую деревню Мисхор, впереди – Симеиз.

Обед получился на славу. Единственное что – шампанское оказалось не столь холодным, как хотелось бы.

– По сравнению с мировой революцией – это мелочь, – сказал Витольд, оглядываясь и прикладывая одну руку к пиджаку, словно бы проверяя, на месте ли у него находится сердце. Там, под мышкой, из бельевой веревки у него была сделана специальная петелька, в которую было удобно засовывать револьвер и выхватывать было удобно, так что бельевая веревка стояла не только на то, чтобы на ней полоскались мокрые «кальсики» – кальсоны Витольда и нижние юбки Маруси Никифоровой, по-нынешнему мадам Бржостэк. «Сердце» находилось на месте, и Витольд, неожиданно ощутивший тревогу – что-то накатило на него, – поспокойнел.

– Если разобраться, то и мясо юного барашка было не таким юным, – сказала Маруся, – но это совершенно ничего не значит.

К ресторану тем временем, петляя среди высоких смолистых сосен, подъезжала пролетка с контрразведчиками. Старший из них, капитан, чья фамилия была такой же, как и у Маруси в девичестве, – Никифоров, хмуро мял рукою тщательно выбритое лицо, – он понимал, что Маруся и ее спутник вооружены, и если их будут брать в ресторане, они откроют такую пальбу, что свет белый разом станет крохотным, как медная полущка, и капитан может потерять часть своих людей...

А ресторан – все ближе и ближе, уже сквозь смолистый дух сосен и нежный – моря протискивается, делаясь осязаемым, плотским, возбуждающим, сочный запах хорошего кавказского шашлыка. Капитан усмехнулся и неожиданно скомандовал:

– Стоп машина!

К нему подsunулся гайдамак, сбил пыль с соломенного канотье, вороньим гнездом сидевшего у него на голове, глянул вопросительно в глаза:

– Что-то случилось, господин капитан?

– Случилось, – хмуро ответил капитан. – Если мы сейчас их попытаемся взять, они перещелкают половину из нас, как куропаток. Это же боевики, эксы...

– Кто-кто? – не понял гайдамак, ноздри у него расширились, сделались крупными и глубокими.

– Экспроприаторы, – пояснил капитан. – Умеют одну пулю вгонять в другую, стреляют на шепот, на свист, на шорох – вслепую... Очень большие умельцы.

– М-да-а, – озадаченно протянул гайдамак.

– Разворачиваемся назад, на сто восемьдесят градусов, – скомандовал капитан, – здесь мы их брать не будем. Возьмем в другом месте.

А Маруся Бржостэк в эти минуты под кофе и фрукты нежилась на ласковом осеннем солнце и вела с мужем неторопливую беседу.

– Нам с тобой вообще пора прощаться с этой страной, с Россией, – сказала она.

– Чего так? – удивился Витольд.

– Чувствую – жизни здесь не будет. Ни мне, ни тебе. А вот в Париже будет.

– Лучше уж уехать в Лондон. В Париже скоро будет столько наших, что не протолкнешься.

– Почему ты так считаешь?

– Как ты думаешь, кто победит в этой войне? – Витольд достал из кармана пиджака тонкую металлическую коробку-портсигар с изображением кудрявого курящего мужчины, достал из нее длинную тонкую папиросу.

– Мы! – не задумываясь, ответила Маруся.

– Никогда в жизни. Победят красные.

Маруся неверяще глянула на мужа и засмеялась. Тот неторопливо размял папиросу пальцами.

– Напрасно не веришь.

– Хорошо, пусть будет Туманный Альбион, – согласилась Маруся. – Лондон так Лондон. Купим собаку. Черного лабрадора.

– Символом жизни в Англии считается бульдог.

– Бульдог – слишком слюнявый, – сказала Маруся, – неохота ходить все время в собачьих слюнях.

Витольд не стал спорить с женой, это было бесполезно.

– Хорошо, пусть будет лабрадор, – сказал он. – Это тоже аристократическая собака. Впрочем, она не только украшает дворцы... В Ньюфаундленде лабрадоры помогают рыбакам вытаскивать на берег сети...

Милые бранятся – только тешатся. Посетителей в ресторане, кроме этой парочки, не было. Грузин стоял в сторонке, сложив на груди огромные волосатые руки и с умилением смотрел на Марусю с Витольдом. Очень ему нравились и он, и она...

Вскоре молодые покинули ресторан. Витольд оставил грузину щедрые чаевые.

Взяли супругов в Севастополе, во время экскурсионной поездки, в которой и Маруся, и Витольд были обыкновенными зеваками, – они поехали в Севастополь, чтобы полюбоваться памятниками, оставшимися в городе после осады его французами. На набережной к ним подошел щеголеватый капитан в белом, плотно обтягивающем его статную фигуру кителе, лихо козырнул:

– Капитан Никифоров, сотрудник Севастопольской контрразведки!

Витольд резко рванул в сторону и в тот же миг остановился: на площадь вынеслась пролетка, в которой сидел офицер с пулеметом «шош» в руках. Бегать от пулемета бесполезно. Витольд потерянно посмотрел на жену и опустил голову. Пробормотал глухо, давя в себе тоску – он еще на что-то надеялся:

– Ваша взяла!

Через некоторое время газета «Александровский телеграф» опубликовала следующий материал (Махно прочитал его трижды), название заметки было более чем красноречиво: «Казнь Маруси Никифоровой».

«Комендантом Севастопольской крепости и начальником гарнизона генерал-майором Субботиным опубликован следующий приказ:

Из дознания, произведенного чинами Севастопольского контрразведывательного пункта, видно, что именуемая себя Марией Григорьевной Бржостэк, она же по прозвищу “Марусяка Никифорова” обвиняется в том, что в период времени 1918–1919 годы, командуя отрядом анархистов-коммунистов, производила расстрелы офицеров, мирных жителей, призывала к кровавой и беспощадной расправе с “буржуями” и “контрреволюционерами”. В 1918 году между станциями (неразборчиво) и Лещинской по ее приказанию было расстреляно несколько офицеров и, в частности, Григоренко. Она участвовала вместе с войсками Петлюры во взятии Одессы, причем принимала участие в сожжении гражданской тюрьмы, где и был сожжен ее начальник Перелешин. В июле месяце 1919 года в гор. Мелитополе по ее приказанию была расстреляно 26 человек и, между прочим, некто Тимофей Рожнов.

Витольд Станиславович Бржостэк обвиняется в том, что укрывал Марию Бржостэк, не довел до сведения властей о совершении ею преступлений.

3 сентября военно-полевой суд приговорил к смертной казни Никифорову и ее мужа. Она держалась вызывающе и, после прочтения приговора, стала бранить судей. Расплакалась только при прощании с мужем. Ночью они оба расстреляны».

Произошло это сразу после ареста четы Бржостэк, следствия по этому делу почти не велось – белые и без всякого следствия знали о Марусе Никифоровой больше, чем знала она о себе сама...

И белые, и красные продолжали с одинаковой силой давить на Махно.

В армии батьки, как мы уже знаем, работали, соревнуясь друг с другом, два контрразведчика – Лев Голик и Лев Задов, он же – Зеньковский. От старой своей фамилии кудрявый здоровяк Лева Задов решил отказаться – больно уж она приметная, в зубах, как кусок мяса, застрекает, всякий человек, даже дурной, с пустой черепушкой, запоминает ее с первого раза, а это бывшему крестьянину, а позже – крутому одесскому уркагану Лева было совсем ни к чему.

Родился он в семейке горластой – с утра до ночи в ней стоял такой ор, что хоть уши затыкай: в семье Задовых было десять детей – шесть девок и четыре парня. В люди выбился только один, старший Исаак. Он занимался извозом, сумел скопить немного денег и открыть

собственное дело. Став богатым, он прежде всего открестился от своих бедных родственников – не любил разную гольтьбу. Остальным повезло меньше – Наум ушел кустарничать в Юзовку, еле-еле сводил там концы с концами; когда в город к ним приходили вооруженные люди, он прятался с детишками в погреб и крышку изнутри закрывал на замок – не знал темный человек, что перед гранатой все замки бессильны.

Даниил был прилежным учеником в еврейском хедере, преданно глядел в зубы учителям, мечтал о карьере адвоката, но вместо этого пошел рвать себе жилы в доменный цех. Как, собственно, и сам Лева – тот тоже хрипел, всаживаясь от бессилия мордой в кокс – также вкалывал в доменном цехе, каталем. Подгонял к огромной пузатой домне тележки с рудой и углем, был чумаз, как негр. И как только он не получил увечья в доменном цехе – не знает никто.

В один момент, когда небо у него над головой сделалось величиной в овчинку и стало черным, как коксовая пыль, Лева Задов сказал самому себе: «Хватит!» – и стал эксом, боевиком. Конечно же, был пойман – куда же без этого? – и получил восемь лет каторги...

Задов подошел к тачанке, в которую садился Махно:

– Батька, можно с вами посекретничать?

Лицо у Махно приняло озадаченное выражение, он, забравшись было в тачанку, вновь спрыгнул на землю.

– Давай!

– Насколько я знаю, вы сегодня приглашены к Полонским на день рождения...

– Приглашен. И что?

– Это по-одесски, батька, – вопросом на вопрос. – Лева ухмыльнулся, вмял в землю брошенный кем-то цветок. – Вас на этой вечеринке попытаются убить.

– Меня много раз пытались убить, Лева, да только из этого ничего не вышло. Кишка у исполнителей этого дела тонка. Не верю я в это. Миша Полонский – преданный мне человек. Кто-то пытается опорочить его в моих глазах.

– Это не так, батька, – мягко проговорил Лева, – вы заблуждаетесь.

– Тогда давай доказательство!

– Пожалуйста! – Задов достал из кармана портмоне, в портмоне была вложена тонкая папиросная бумага, сложенная вчетверо, на полупрозрачной поверхности ее был четко виден отпечатанный на «ундервуде» текст. Задов развернул бумажку, протянул ее Махно. – Вот. Извлекли из потайной схоронки Полонского.

Батька взял бумагу в руки, почитал вслух заглавное слово, отпечатанное большими буквами:

– «Мандат», – вздохнул: – Так-так-так... Не люблю я это скверное слово «мандат» – от него пахнет предательством.

– И я это слово не люблю, – признался Лева Задов.

В бумаге той папиросной, туманно-прозрачной, словно бы ее насквозь пропитали дымом, было напечатано следующее: «Мандат. Дан сей тов. Полонскому в том, что он назначен парткомом для формирования отряда особого назначения по борьбе с бандитизмом (Махновщины). По прибытию т. Полонского в часть просим его не задерживать как отчетностью, так и другими делами. Секретарь парткома Никонов. 23 марта 1919 г.».

Батька прочитал мандат один раз, другой – он не верил глазам своим, – на скулах у него появились белые пятна. Можно было понять, что происходило сейчас у Махно в душе.

Лева Задов сочувственно глянул на него и отвернулся.

– В схоронке, говоришь, взяли? – переспросил Махно.

– В ней самой.

– О том, что вы взяли там эту хренотень, Полонский знает? – Махно встряхнул бумажку в руке.

– Нет.

– Значит, будете подкладывать назад, в схоронку?
– Скорее всего, арестуем Полонского. Это проще.
– Полонский – человек в повстанческом движении приметный, так просто его не арестуешь.

– Справимся, батька!
– Справиться-то справитесь, я в этом не сомневаюсь, я о другом говорю: многие могут не поверить, что Полонский – предатель. Потребуют доказательств.

– А разве этот мандат – не доказательство?
– Полудоказательство. Нужно что-то еще... У нас много бывших большевиков – пристряли к нам и неплохо воюют. В том числе и Полонский.

– В том числе, да не в том, батька, – сказал Задов и задумался.

В окружение Полонского он внедрил своего человека – бывшего большевика Захарова. Сведения от Захарова поступали верные.

Поначалу Полонский действительно воевал честно, прекрасно управлял своим полком, но это происходило до тех пор, пока красные уступали белым, как только белые попятись, лицо Полонского обрело сумрачное выражение: ведь если придут красные, то предательства ему они не простят. Спасти может только одно – уничтожение Махно. И Полонский начал собирать группу верных людей для совершения этого акта.

Бывший большевик Захаров был включен в группу ликвидаторов.

В недрах этой группы и возникла идея о дне рождения и об отравленном коньяке либо водке, начиненной мышьяком, – для этого достали четыре бутылки роскошной довоенной «монопольки», батька ее очень любил, предпочитал даже горилке, где в одной посудине вместе с напитком плавала и закуска – красный горький стручок, «монополька» шла у батьки выше горилки, ценило «монопольку» и батькино окружение – Семен Каретников, Виктор Белаш, Федор Щусь, Гаврила Троян, лихой красавец Саша Каретников. Для любителей напитка поблагороднее Полонский достал две бутылки шустровского коньяка разных марок, одну подороже, другую подешевле, выставил коньяк на стол, с ближайшего хутора привез десяток курей, велел жене зажарить их, а с Днепра, от рыбаков, ему доставили свежую рыбу – Полонский решил попотчевать гостей хорошей ухой, приготовленной по-одесски, с помидорами, так называемой шкарой. Сам Полонский шкару очень любил.

Днем Полонский специально приехал к Махно.

– Вечером, батька, у моей жены – именины... Это я вам напоминаю на всякий случай. Чтобы вы не забыли.

– Не забуду, – спокойно ответил ему Махно. – Приеду обязательно. Может быть, даже с Галиной.

Последние слова батька сказал специально, чтобы Полонский ни о чем не мог догадаться, – для успокоения.

– Это будет очень хорошо! – обрадовался Полонский. – Галина Андреевна в нашем доме – всегда почетный гость.

«Сука, – наливаясь тихой яростью, подумал батька. Скулы у него знакомо побелели. – Посмотрим еще, кто из нас выпьет яду. Но то, что я не выпью, – это точно».

– Будет уха из свежей стерляди, – пообещал Полонский.

– Любо, – по-казацки ответил Махно, хотя казаков терпеть не мог. В ответ Полонский щелкнул каблуками и приложил руку к виску.

Не в силах больше сдерживаться, Махно отвернулся от него, щелкнул пальцами, подзывая к себе нового адъютанта Гришу Василевского – малорослого, шустрого, черноглазого паренька, – отец Гришин, старый благообразный еврей, был известным в Гуляй-Поле скупщиком свиней.

Тот появился незамедлительно – ждал щелчка пальцев.

– Поехали! – хмуро сказал адъютанту Махно.

Екатеринослав выглядел мрачно – по небу ползли тучи, улицы были безлюдны, безжизненны, даже собаки, и те попрятались. Прилетающий с реки ветер тупо погромыхивал водосточными трубами, ахал, шевелил железные крыши, пытаясь их сдернуть с домов, окна в городских зданиях были черными, многие жители, чтобы сохранить стекла, оклеили их полосками белой бумаги. Когда неподалеку в землю ложились артиллерийские снаряды, стекла в домах превращались в брызги. А бумажные полоски защищали их.

Махно с невеселым видом размышлял: верить Леве Задову или не верить? Задов – пришлый человек, из Одессы, он может и к нашим лицом повернуться, и к вашим, и в Ваньку-дурачка сыграть, и в Ивана-царевича... Надо будет спросить о Полонском у другого Льва – у Голика.

Лев Голик – свой человек, гуляйпольский, вместе с Махно на заводе вкалывал, только Нестор в литейке горбился, на самой тяжелой, самой неквалифицированной работе, а Голик в чистом фартуке по токарной мастерской ходил, штангенциркулем пощелкивал.

В тот же день Махно встретился с Голиком, надвинул одну губу на другую, повозил ею из стороны в сторону. Спросил:

– Что можешь сказать о Михаиле Полонском?

– Предатель он, батька.

– Но воюет-то хорошо...

– А предатели всегда хорошо воюют. Гетман Мазепа тоже неплохо воевал.

Эти слова Голика и определили судьбу Полонского. Лицо у Махно сделалось темным, он цапнул рукой за кобуру маузера, висевшую на укороченном ремешке, словно бы проверяя: на месте ли оружие? Оружие было на месте.

– В чью же сторону решил повернуть свою судьбу Полонский?

– В сторону тех, кто выдал ему мандат.

– Мандат ты, Лева, видел? – спросил Махно, хотя можно было и не спрашивать, и без того понятно, что Голик был в курсе всего происходящего. – Ладно, заглянем вечером на гостеприимный огонек... – сумрачно закончил батька и, не попрощавшись с Голиком, ушел.

За ним поспешно двинулся Троян – верный начальник охраны в эти дни не отходил от Махно ни на шаг.

Вечера и ночи в Екатеринославе выпадали тревожные. Света не было. Старые газовые фонари, которые когда-то освещали город, были разбиты, от них не осталось даже осколков, – керосиновые десятилинейки, стоявшие в квартирах, улицы осветить не могли.

То там, то здесь звучали выстрелы.

Идти от отеля «Астория», где Махно жил вместе с Галиной Андреевной, до особняка, облюбованного командиром Железного полка, было недалеко. Думали – проскочат без происшествий, ан нет, не проскочили.

Махно шел впереди, за ним – Семен Каретников, сзади, на почтительном расстоянии, шагом двигался полуэскадрон охраны.

Уже стемнело, земля под ногами была неровной, идти приходилось осторожно.

Батька уже знал, что отравленной будет лишь одна коньячная бутылка, шустовская: их в наборе бутылок будет две, одна, которая подороже, – отравленная, вторая, подешевле, – нет, поэтому Полонский постарается налить батьке напиток из дорогой бутылки. Странно, почему он еще не отравил ни одну из бутылок «монопольки»?

В виски батьке ударил жар.

Положение в Повстанческой армии было сложное – удержаться бы на ногах, как говорится, – свирепствовал тиф, половина армии лежала в сыпняке, вторая половина – сорок тысяч человек – дралась на фронте.

Неожиданно впереди Махно увидел две сгорбленные тени – какие-то люди выносили из помещения – судя по всему, складского – мешки.

– Стой! – выкрикнул батька.

Тени – совсем не бестелесные – затопали ногами по деревянному тротуару.

– Стой! – вторично выкрикнул Махно, схватился за кобуру маузера. Маузер сам очутился у него в руке, батька поспешно оттянул курок и хлобыстнул в темноту, в едва приметно подрагивающий силуэт человека, бегущего с мешком на спине.

За первым выстрелом раздался второй. Рядом громыхнул револьвер Семена Каретникова.

Обе тени завалились на тротуар, задергали ногами. Сзади звонко застучали копыта коней – полуэскадрон охраны перешел на рысь.

– Мародеры! – брезгливо произнес Махно, вспомнил, как сегодня утром к нему приходила заплаканная, ограбленная такими же мародерами женщина – всего лишилась несчастная баба, даже последнего куска сала, засоленного на черный день; когда батька дал ей денег – упала на колени и поползла к его руке, чтобы поцеловать. – Позор для Повстанческой армии!

Он подошел к одному из мародеров, пнул его ногой. Мародер захрипел.

Махно и его спутников окружили конники.

– Проверьте, что в мешках, – приказал батька, – вдруг что-то ценное. Самих закопайте – нечего вонять на городских улицах.

Невдалеке послышался топот – кто-то бежал к Махно.

– Батька!

Это был верный адъютант Гриша Василевский.

– Я, пожалуй, вернусь в гостиницу, – сказал Махно, – вы идите к Полонскому без меня. Действуйте, как договорились.

– Но Полонский будет ждать вас, – Троян выразительно пощелкал жальцами, – а главное – будет ждать мадам Полонская.

Лицо Махно исказилось: у этой парочки, у Полонских, все было расписано – яд в коньячную бутылку должна была налить мадам Полонская, красивая женщина с кукольным, чуть припухшим после родов лицом и большими голубыми глазами. Актриса, одним словом.

– Противно идти туда, – сказал Махно, – проводите операцию без меня. Вот вам помощник. – Он толкнул Василевского под лопатки.

– Я вас понимаю, батька, – со вздохом произнес Троян, – потому и не настаиваю.

– Всех, кто появится на этой квартире, – арестовать, – приказал батька. – С каждым буду говорить отдельно. Если человек окажется невиновным – отпустим...

Махно вернулся в «Асторию», а Семен Каретников, Троян, Василевский и полуэскадрон охраны проследовали дальше, к особняку, облюбованному командиром Железного полка.

В особняке вкусно пахло жареными курами, дух был вязкий, всепроникающий, вышибал слюну. Голодный Каретников – с утра во рту ничего не было, так и не сумел присесть, чтобы выпить чашку чая, – восхищенно покрутил головой:

– Во живет комполка – командующие армиями так не живут!

– А каких кур жарит его баба, обрати внимание, – не удержался от восклицания Троян.

В прихожей он зацепил сапогами за какое-то слишком далеко выставленное из-под скамейки ведро, громыхнул им, на грохот из комнаты вылетел раскрасневшийся Полонский, улыбнулся широко:

– Пожалуйте, гости дорогие! – Не увидев среди гостей Махно, поинтересовался озадаченно: – А где же батька?

– Ты вначале прими нас, а дальше видно будет... Понравится нам здесь – и батька придет, не понравится – не видать тебе батьки...

– Нет, батьку надо все-таки подождать, – неуверенно проговорил Полонский, пропуская гостей в «залу» – по-настоящему барскую, с лепниной в половину потолка, с хрустальной яркой люстрой, висящей в центре. – Без батьки неудобно...

– Неудобно с печки в валенки прыгать – промахнуться можно, – назидательно произнес Каретников, – все остальное удобно. – Он сделал стремительное движение к столу, на котором стояли бутылки с напитками, взял коньячную бутылку, подкинул ее в руке и, прочитав этикетку, произнес уважительно: – Шустовский.

– Это для батьки напиток приготовлен, для него лично, – возбуждаясь, проговорил Полонский, – поставь, Семен, на место.

– Вот мы с батькой напиток вместе и исследуем, – усмехнувшись, прогудел Каретников, засунул бутылку в карман.

– Ты чего это, Семен? – повысил голос Полонский. – Повторяю, это коньяк для батьки. Поставь его на место!

– Имей в виду на будущее – батька любому, даже очень роскошному коньяку предпочитает водку-«монопольку», – Каретников неторопливо вытащил из другого кармана револьвер и направил его в лоб хозяину: – Хенде хох, Полонский! Руки вверх!

Полонский побледнел.

– Ты чего, Семен?

– Мало того что в полку у себя ты имеешь большевистскую партиячку, мало того что выпускаешь газету «Звезда», на которой единственное, что не хватает профиля Ленина, ты решил еще и батьку на тот свет отправить?

На Полонского в этот момент страшно было смотреть – ни одной кровинки на лице – лицо, восковое, просвечивало едва ли не насквозь. В прихожей кто-то затопал ногами, и в «залу» заглянул Марченко.

– Я не опоздал?

– Не опоздал, – сказал ему Каретников, вытащил из кармана бутылку с коньяком. – Нака! Пусть спецы проверят, чего тут в коньячке намешано?

– Да ничего не намешано! – со слезами на глазах воскликнул Полонский.

– Это мы узнаем. Давай, Марченко, востри сапоги к выходу, – скомандовал Каретников.

Троян вывел из соседней комнаты жену Полонского. Та, перепуганная, была так же, как и муж, очень бледна, но еще не сумела до конца сообразить, что же все-таки происходит. Каретникову сделалось жаль ее – этот дурак Полонский не устоял, вмешал в свое разбойное дело жену, – Каретников качнул головой осуждающе и повел стволом револьвера, указывая дорогу:

– На выход!

В особняке оказались еще двое – командир батареи Пантелей Белочуб – человек, в преданности которого батьке Каретников несколько не сомневался, попал Белочуб в эту кампанию, судя по всему, случайно, из-за всегдашней своей готовности выпить, – а вот с кем пить, это его совершенно не интересовало, – и хмурый, скользкий, как угорь, председатель трибунала Екатеринославского полка Вайнер.

Когда выходили, в дверях особняка появился Лева Задов, спросил озабоченно:

– Больше никого не было?

– Нет, – ответил Каретников. – Забери у Марченко бутылку с отравленным коньяком,

– А ты, Белочуб, как тут оказался? – удивился Задов, увидев командира батареи. – Тут вроде бы не твоя кампания собралась...

– Не моя, – Белочуб вздохнул, – да вот, занесло дурака... На запах выпивки. Выпил, называется... Теперь не знаю, Лев Николаевич, как батьке в глаза буду смотреть.

– Белочуб в этой кампании чужой, – сказал Задов Каретникову, – Белочуба можно отпустить.

– Дуй отсюда, Пантюшка, аллюром три креста, – велел Каретников командиру батареи, – чтобы духом твоим здесь не пахло!

Тот заахал, заохал, залопотал что-то невнятно и, красный, с испуганно вытаращенными глазами, исчез.

Когда выводили жену Полонского, она заплакала:

– А ребенок?

– Ребенка никто не тронет, – сказал ей Каретников, хмуро отвел глаза в сторону, – не беспокойтесь.

Полонская всхлипнула. Выдернула из-за рукава кружевной шелковый платочек, приложила его к глазам.

На улице громыхнул мотором автомобиль, узкий луч света махнул по окнам и угас.

– Не задерживайтесь, граждане, – подгонял арестованных Лева Задов, – давайте-ка побыстрее на выход!

– Слушай, Лев Николаевич, – Полонский, немного пришедший в себя, засуетился, – тут произошла какая-то страшная ошибка...

– Никакой ошибки нет, – спокойно произнес в ответ Задов. – И вообще, Полонский, запомни, – контрразведка ошибок не делает.

Полонский замолчал.

Вышли на улицу. Машин, оказывается, стояло у крыльца две, а не одна.

В одну машину посадили Вайнера, рядом с водителем разместился Задов, сзади, охраняя Вайнера, – Гриша Василевский, во вторую уселись Каретников, Троян и чета Полонских.

– Трогай! – скомандовал Задов.

Головной автомобиль чихнул, фыркнул, пустил вонючий клуб дыма и, погромыхая рессорами, покатил по мостовой, второй автомобиль замешкался.

– Чего там у тебя? – недовольно повернул голову к шоферу Каретников.

– Сей секунд, начальник, – проговорил водитель извиняющимся тоном, – автомобиль – не кобыла, а более сложный механизм.

Через полминуты тронулся и он.

На берегу Днепра Каретников приказал водителю остановиться.

– Чего так? – Водитель хотел нагнать первую машину, но из этого ничего не получилось.

– Воздухом подышать надо, – неопределенно проговорил Каретников, скомандовал чете Полонских: – Выходите! Подышим вместе.

Те вышли. Полонская не выдержала, склонила голову на плечо мужа и заплакала.

– Нечего тут сырость разводить, гражданка, – скрипуче, каким-то чужим голосом проговорил Троян, – раньше надо было думать, чем ваша затея может закончиться.

Полонская заплакала сильнее.

– Пошли к воде! – приказал Каретников.

Берег Днепра в этом месте был не столь обрывист, как на других участках, в земле были вырезаны ступени. Каретников чиркнул спичкой, зажал ее в ладонях, осветил несколько ступеней. Было слышно, как внизу плещется невидимая в ночной черноте вода. В стороне, под деревьями, заполошно закричала невидимая чайка – свет спички испугал ее.

Каретников первым двинулся по ступенькам вниз. Полонские – следом. Замыкал цепочку Троян.

Минут через пять спустились к воде. Каретников задрал голову, посмотрел в небо. Небо было черным, глухим – ни одной блески.

– Семен, может разберемся?.. – попросил Полонский, оторвал от плеча жену, погладил ее по голове. – Не плачь... моя маленькая.

Именно так – «моя маленькая» – Полонский звал ее в самые сокровенные минуты. Полонская заплакала еще сильнее.

– К воде! – хмуро скомандовал Каретников, доставая из кобуры револьвер.

Троян извлек маузер, громко щелкнул курком. Полонский тихо охнул и, сгорбившись, первым двинулся к воде, у кромки ее не остановился, вошел в Днепр, широким движением ноги разгреб рябь.

– Не отставайте от мужа, гражданка, – посоветовал Каретников.

Полонская шагнула в воду. Слезы, которые только что заливали ее лицо, иссыкли, словно бы в организме что-то обрубилось, она пошла по воде в туфлях, потом нагнулась, сняла их и швырнула на берег.

Через секунду гулко ударил выстрел. За ним – второй. Полонский после выстрелов развернулся, глянул в лицо Каретникову, изо рта у него выбрызнула кровь, видимая даже в темноте, и он осел в воду. Жена его тихо ткнулась головой в рябь и осталась лежать в Днепре вниз лицом.

Трупы закачались в воде у самого берега.

Каретников и Троян неторопливо поднялись по земляным ступеням к автомобилю.

– Вот и все, – сказал Каретников, хлопнул ладонью о ладонь, будто смахнул с них грязь. – И нечего ковыряться в носу зубочисткой. А то – давай разберемся, давай разберемся... Тьфу! – Он хмыкнул. – Разобрались.

Троян молчал.

Сели в машину.

– Давай в контрразведку, – скомандовал Каретников водителю. – Посмотрим, чем нас угостит Лева Задов.

Хотя и изменил Задов фамилию на Зеньковского, а все, кто знал его, продолжали по привычке звать Задовым.

Задов встретил гостей хмуро.

– Что-то ты невеселый, – сказал ему Каретников, – спать, что ли, захотел?

– Тут повеселишься. – Задов сощурил усталые красные глаза. – А где арестованные?

Каретников не стал отвечать на вопрос, поступил по-одесски, задал свой вопрос:

– Ну что с коньяком?

– Отрава. Налита сильная отравка. Похоже – синильная кислота... Химики скажут.

– Значит, не зря мы Полонского с его разлюбезной шлепнули.

– Вы их все-таки шлепнули?

– А как же! – Каретников ухмыльнулся.

– Батяка будет недоволен, предупреждаю.

– С батякой сговоримся.

Махно, узнав, что Полонских расстреляли, ничего не сказал, лишь подвигал одной губой, верхней, из стороны в сторону и проговорил тихо, совершенно бесцветно:

– Ох, Семен, когда-нибудь я тебе откручу чего-нибудь важное за такое самоуправство.

– Прости, батяка, – кротко проговорил Каретников. – Но я их отправил плавать по Днепру за дело, согласишься!

– За дело, – подтвердил Махно, снова повозил верхней губой из стороны в сторону, словно бы собирался что-то стереть с губы нижней. – Пусть контрразведка нарисует протокол, оформит все как надо.

– Будет сделано, – обрадованно пообещал Каретников.

– Не то отношения у меня с Всеволодом Волиным и без того натянутые, – сказал батяка, – он постоянно критикует меня на заседаниях Реввоенсовета.

– Напрасно мы пригласили его к себе в армию, батяка, – проговорил Каретников просто, – сидел бы он себе в Москве, либо в Париже, в носу ковырял бы – чем не занятие!

– Действительно... – Батяка усмехнулся. – Ребенка Полонских отвези Галине Андреевне, пусть девочка побудет пока у нас.

Так Махно удочерил ребенка своего врага. Галина Андреевна девочке была очень рада, – хоть и полно было у нее забот, а все равно она находила время забежать домой, в просторный номер «Астории», украшенный богатой лепниной, и понычаться с девочкой.

Хотелось иметь свою дочку, свою собственную, но разве в этом дыму, в этом грохоте можно растить ребенка? Галина Кузьменко отрицательно качала головой, темные глаза ее делались печальными – нельзя...

Кроме четы Полонских были расстреляны также Вайнер, адъютант командира Железного полка Семенченко и большевик Бродский.

Большевицкие ячейки, газету «Звезда», разные пропагандистские кружки, существовавшие в Повстанческой армии, решено было не закрывать.

Популярность махновцев в народе росла: батка совершал налеты на банки, громил ломбарды, кредитные общества, склады, изымал деньги, продукты, вещи, все это свозилось в приемную Реввоенсовета, и дородный, осанистый, с лоснящейся бородкой «буланже» дядя Волин распределял добычу по просителям – простым людям.

Толпа выстраивалась по несколько тысяч человек.

Иногда он выдавал на руки немалые суммы – по тысяче рублей; фунт хлеба в то время стоил примерно пять-шесть рублей.

Батка действовал основательно, он решил: республике Махновии – быть!

Жизнь в Махновии была непростая, выстрелы гремели не то чтобы каждый час – каждую минуту. Вот одно из воспоминаний тех лет:

«На площадке против комендатуры собралось человек 80—100 махновцев и толпы любопытных. На скамейку поднялся комендант города, молодой матрос, и объявил:

– Братва! Мой помощник Кушнир сегодня ночью произвел самочинный обыск и ограбил вот эту штуку. – Он показал золотой портсигар. – Что ему за это полагается?

Из толпы два-три голоса негромко крикнули:

– Расстрелять!

Это подхватили и остальные махновцы, как, очевидно, привычное решение. Комендант, удовлетворенный голосованием приговора, махнул рукой, спрыгнул со скамейки и тут же из револьвера застрелил Кушнира. Народный суд окончился, а махновцы, только что оравшие «Расстрелять», довольно громко заявляли: «Ишь, сволочи, не поделили»; комендант же, опустив портсигар в карман брюк, отправился выполнять свои обязанности».

Портсигар, который так неосторожно отнял у кого-то его помощник, теперь всецело принадлежал ему.

Такое происходило сплошь да рядом. Описанный очевидцем случай, например, произошел в Бердянске.

Если махновцы занимали новый город, то первым делом разрушали в нем тюрьму – это для них было святое...

После расстрела четы Полонских и их помощников в Екатеринославе по городу словно бы шквал какой прошелся: махновцы вытащили из домов всех офицеров и, хотя те давно уже распрощались с оружием, отошли от борьбы, вывели на берег Днепра и расстреляли.

Следом расстреляли членов их семей.

Затем была объявлена охота на белых офицеров. Лева Задов, человек хитрый, предприимчивый, подключил к этой охоте местных мальчишек:

– Каждый, кто отыщет в городе офицера и укажет, где он находится, получит сто рублей.

Екатеринославская пацанва загалдела – эти сорви-голова знали такие места, такие потайные темные углы в городе, что взрослые дяди из контрразведки о них даже не догадывались. Один за другим пацаны прибегали к Задову:

– В мануфактуре Баранникова, в конторе, на чердаке сидят двое субчиков... Офицеры! За двух офицеров Задов отсюнявливал от толстой пачки денег две сотенные:

– Шукайте еще!

– У дворничихи Мухамедшиной в подвале сидит офицер...

– На сто рублей! Ищи еще, не ленись!

Так в течение трех дней в Екатеринославе не осталось ни одного офицера.

Но случались и другие истории.

На пятый день после взятия Екатеринослава Махно решил навеститься в отделение местного банка, посмотреть, что осталось в тамошних загашниках. Сел в машину, с собой взял Белаша, Трояна и Сашу Лепетченко, сзади на сытых конях выстроилась полусотня охраны, автомобиль чихнул, выбил из прогоревшего патрубка несколько синих вонючих колец дыма, устремился по узкой каменной улочке к площади, где находился банк, конники, лихо гикая – из-под копыт лошадей только вылетали искры, – поскакали следом.

Подъехали к банку – мрачному серому зданию, похожему на тюрьму, к которой пристроили колонны. Махно взгляделся в часового, стоявшего у входа в банк, и брови у батьки сложились изумленным домиком.

У входа стоял часовой в белогвардейской форме, с погонами.

– Маманя моя! – неверяще просипел Лепетченко, от неожиданности у него даже пропал голос, – расстегнул кобуру маузера,

– Погоди, – остановил его Махно, неспешно вылез из машины, спутники выбрались следом.

Махно потянулся, расправляя уставшие чресла, похрустел костями и направился к часовому. Тот немедленно выставил перед собой штык трехлинейки.

– Пропуск!

– Нет у меня пропуска, – спокойно проговорил Махно, – не запаса.

– Тогда я вас не пропущу. – Часовой клацнул затвором.

Это было самое настоящее геройство – с Махно прибыло полсотни всадников, в машине имелся пулемет, часовой с винтовкой против такого оружия ничего не мог поделывать, и тем не менее он храбро передернул затвор.

– Ишь ты, – удивленно протянул Лепетченко, – ничего не боится! – Он снова потянулся к маузеру.

Следом за ним потянулся к маузеру и Троян.

– Отставить! – остановил своих спутников Махно, повернулся к часовому. – Начальник караула у тебя есть?

– Есть.

– Вызывай начальника караула.

– Это можно, – проговорил солдат, с облегчением закидывая винтовку за плечо. Рядом с дверью в стену был вмурован длинный штырь, на штыре висел небольшой голосистый колокол с обрывком веревки, привязанным к язычку, дернул за обрывок.

Раздался сильный гулкий удар. На удар этот немедленно явился подпоручик в гимнастерке с погонами; кожаный ремень оттягивала тяжелая кобура с наганом.

Это было удивительно – видеть в центре Екатеринослава, где были выловлены все офицеры, – город был буквально проскребен гребенкой, – живого белого подпоручика.

Подпоручик козырнул.

Махно в ответ тоже козырнул.

– Командующий Повстанческой армией, – назвалса он, сощурился испытующе, расставил ноги пошире, словно бы собирался взмахнуть саблей и отрубить беляку голову. – Скажите, подпоручик, а что вас здесь задержало? Ведь ваших в городе нет уже четыре дня.

Подпоручик вытянулся, щеки у него побледнели.

– Я не имею права бросать этот пост, – произнес он тихо. – Меня сюда поставили. Раз поставили, то должны и снять.

Ответ понравился Махно, он одобрительно кивнул.

– Эх, таких бы командиров ко мне в армию, да побольше! – произнес он мечтательно. – Я бы давно сделал Украину свободной. – Он вздохнул вторично, глянул на Белаша: – Вот, начальник штаба, что значит человек долга! – Махно вновь взял под козырек, проговорил твердо, чуть заскрипевшим от простуды голосом: – У нас принято белых офицеров расстреливать, но вас, подпоручик, и ваших подчиненных ни один человек не тронет, поскольку вы – люди чести. Склоняю перед вами голову, – Махно наклонил голову, стали видны длинные лоснящиеся волосы и потемневший от пота воротник «венгерки». Батяка выпрямился. – А сейчас, подпоручик, поскольку город взят Повстанческой армией, прошу сдать ваш пост бойцам этой армии.

Подпоручик взял под козырек:

– Есть сдать пост! Кто будет принимать?

Батяка положил руку на плечо начальника охраны.

– Вот он и примет. Фамилия его – Троян.

Троян главный пост у банка принял, белогвардейцев выпроводили из города, не тронув пальцем, – слово свое Махно сдержал, – банковские же кладовые основательно почистили.

Газета «Путь к свободе» на следующий день дала такое сообщение: «Бедное население может приходить в штаб Повстанческой армии батяки Махно за материальной помощью – с собою иметь только паспорт, чтобы можно было судить об общественном положении просителя».

Денег, взятых в банке, не хватило, и тогда батяка, почесав лохматый затылок, решил обнести данью состоятельных людей. Всех екатеринославских и елисаветградских торговцев он разделил на четыре разряда; с первого разряда решил брать тридцать пять тысяч рублей «добровольного взноса» в пользу населения, с четвертого – в семь раз меньше: всего пять тысяч...

Заводчики и фабриканты были разбиты на восемь категорий. Те, кто шел по первой категории, обязан был внести в батякину кассу двадцать пять тысяч рублей, последний же, восьмой разряд, – две тысячи рублей.

Тем, кто этого не делает, Махно пообещал свинцовую медаль, выпущенную из маузера, – в городе хорошо было известно, что батяка склонен стрелять не раздумывая, поэтому торговцы и промышленники длинной цепочкой потянулись к штабу. Каждый держал в руках кулек с деньгами.

Вот такая жизнь установилась в городах Екатеринославе и Елисаветграде...

На фронте же шли затяжные бои, махновцы в основном колотили Деникина – били так, что почтенный генерал только ахал да поскребывал пальцами ушибленные места.

Но народу в Повстанческой армии не хватало.

Двадцать седьмого октября 1919 года Махно собрал съезд – пригласил на него своих людей – командиров полков, жителей сельской глубинки, – естественно, проверенных Голиком и Задовым, рабочих.

Съезд обсудил два важных вопроса, поставленные перед ним батякой, и проголосовал за них единогласно. Первый вопрос был связан с образованием в республике Махновии «вольных безвластных Советов», – собравшиеся решили создать такие Советы обязательно, хотя никто не знал, что это такое и с чем этот фрукт едят (но звучит красиво), второй – о мобилизации в Повстанческую армию мужчин в возрасте от девятнадцати до тридцати девяти лет – слишком уж здорово выкашивали батякины ряды фронт и тиф, спасу от них не было никакого.

Белые начали поспешно отступать в Крым – рассчитывали, что втянут на полуостров лучшие свои части и запечатают узкую горловину перешейка прочной пробкой.

На них плотной стеной наседали Четырнадцатая армия, которой командовал Иероним Уборевич. Надо заметить, что членом Реввоенсовета Южного фронта, по сути – комиссаром, был Иосиф Сталин.

Сталин же, как известно, в пику Троцкому, относился к батьке с симпатией, более того, при разработке планов по уничтожению Деникина он отводил Повстанческой армии Махно видную роль.

– У Махно – прекрасный аппетит, – сказал будущий «отец народов», – он прекрасно стрескает Деникина под крепкую украинскую горилку.

Седьмого декабря 1919 года Троцкий выступил на VII Всероссийском съезде Советов, где признал успехи Махно в борьбе с Деникиным «внушительными» и одновременно предупредил зловещим голосом, что «завтра, после освобождения Украины, махновцы станут смертельной опасностью для рабоче-крестьянского государства».

Василий Куриленко получил в Красной Армии повышение – стал комдивом, начальником дивизии.

За отличную службу и успехи в боевой и политической подготовке (так, кажется, тогда звучала эта знаменитая формулировка), за то, что успешно теснил деникинцев, но был ранен, Куриленко получил заслуженный отпуск.

Куда мог рвануть доблестный комдив на три недели, отведенные ему по отпускным бумагам на поправку, – если честно, этого было маловато, – в какие края? Естественно, в края родные, свои собственные.

Подтянутый, высокий, в ремнях, в шинели из тонкого сукна, к которой был прикручен орден Красного Знамени (тот самый, полученный вместе с Махно), с маузером на одном боку и шашкой на другом, он появился в Гуляй-Поле.

Перед этим побывал в Новоспасовке, хотел увидеть мать, но мать его умерла – похоронили совсем недавно, и командир Восьмой кавалерийской дивизии, тихо охнув, опустился на поленицу дров: ему показалось, что ноги перестали держать тело, – собственно, так оно и было.

– Ма-ма... – тихо, со слезами прошептал боевой комдив.

Подросла сестра, простоволосая, в овчинной кацавейке, накинутой на плечи, бросилась к комдиву.

– Василь! – вскричала она. – Вася! Остались мы одни! – В горле ее что-то захлюпало, и в следующее мгновение она заревела басисто, раскачиваясь всем телом.

– Замолчи! – прикрикнул на нее брат. – И без твоего воя тошно...

Сестра прекратила плакать, поджала обиженно губы, и Куриленко, понимая, что поступил грубо, как у себя в дивизии, легонько погладил ее пальцами по плечу.

– Не плачь, – проговорил он сдавленно. – Слезами горю не поможешь. – Снова погладил ее по плечу.

Сестра быстро успокоилась.

Ветер гнал над мокрой холодной землей клочья облаков, иногда из них на землю сыпался мелкий, как пыль дождь, летела какая-то жесткая неприятная крупка, стеклисто скрипела под ногами, вызывала на зубах чес и нехорошие думы.

– Пойдем в хату, Василь, помянем маму, – сказала сестра, поднимаясь. Глаза у нее уже были сухие, голос не дрожал – видать, все перегорело.

– Пойдем, – сказал Куриленко, поднимаясь с поленицы.

Уже в хате, когда поспела картошка, а из погреба сестра достала моченый арбуз и вкусно хрустящие на зубах, будто свиные хрящики, крохотные твердые огурчики, – умела она их гото-

вить знатно, никто в Новоспасовке не умел так хорошо солить пикули, как родная сестра комдива, – Куриленко спросил, задумчиво разжевывая схожий с винтовочным патроном твердый огурчик:

– наших не видела?

– Кого наших? Красных, что ли? Да их – полное Гуляй-Поле.

– Не тех красных... – Куриленко поморщился. – Нестора Ивановича Махно не видела?

– Некоторое время был в Екатеринославе... Там у него, говорят, целый мешок бриллиантов своровали...

– Да ну! – Куриленко удивился. – Целый мешок бриллиантов? Неужто правда?

– Говорят, правда.

– А Белаша не видела?

– Видела! – неожиданно оживившись, воскликнула сестра. – На Новониколаевских хуторах.

Новониколаевские хутора – это было совсем недалеко отсюда. Расположены те хутора были очень удачно – в случае нападения с них было легко уходить.

– Кого еще видела?

– Петренко видела.

– Еще кого?

– Вдовиченко.

– Еще кого?

– Остальных не знаю. На хуторах их собралось человек двадцать.

Куриленко пешком пошел на Новониколаевские хутора. Коня у сестры не было – отняли, да и, честно говоря, не хотелось садиться в седло, хотелось пройти пешком, подышать родным воздухом, помесить ногами землю – слишком давно не был в этих местах, соскучился, – поглядеть, что война сделала со степью.

– Ты поаккуратнее, – напутствовала его сестра, – оружие возьми: не ровен ведь час – и вороны могут налететь.

– Ерунда, – отмахнулся Куриленко, но маузер с собою взял. На всякий случай. В карман шинели насыпал патронов.

Дорога на хутор – размякшая, истоптанная конскими копытами – оказалась длиннее, чем он думал. В некоторых местах прямо посреди дороги чернели воронки, их никто не думал засыпать, словно бы в селах да на хуторах здешних перевелись рукастые хозяйственные мужики, в двух местах в стерне лежали свежие, еще не расклеванные воронами лошадиные трупы, а уж трупов старых, съеденных птицами, с печальными костями черепов, пусто глядящих в небо, попадалось столько, что их и считать не хотелось.

Печально делалось Василию Куриленко, лицо у него дергалось, будто у контуженого, уголки губ расстроено подрагивали.

Первый человек, которого он встретил на хуторе, был Виктор Белаш. Невысокий, плотный, с щеточкой усов, он настороженно держал руку в кармане ватника, глядя на статного красного командира.

Узнав Куриленко, расцвел в невольной улыбке, широко раскинул руки в стороны.

– Ба-ба-ба, кого я вижу!

Куриленко не удержался, тоже раскинул руки в стороны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.